

РОДНИКИ

С многовековых чинар, вросших могучими корнями в берега арыка, срываются отяжелевшие пурпурные листья, кружатся в воздухе, падают на влажную землю. Ветер перегоняет их то в одну, то в другую сторону, наконец, подхватив, уносит далеко, в сторону Анхора¹. А листья падают и падают поверх пожелтевшей травы. Иногда доносится из опустевшего сада хрипловатое грустное стрекотание длиннохвостой сороки, снующей среди огуречной ботвы и расклеывающей яблоневую падалицу. Это она, говорят, предупреждает, что погода скоро изменится. Начнутся заморозки, а может, пойдет снег. Осень подходит к концу. Но еще не кончилась. Ей, по всему, не хочется уступать территорию наступающей зиме.

Лето нынче выдалось невыносимо жаркое, а срочной работы в нашем ведомстве так много, что вырваться из душных служебных комнат куда-нибудь, ну, хотя бы в Шахрисабз, к своему другу, где близки горы и воздух прохладный, чистый, мне так и не удалось. Теперь, когда зима уже на пороге, — хотя что такое среднеазиатская зима? — я нахожусь за городом, в домике из красного кирпича, затерявшемся среди приунывших деревьев. Владельцы соседних домиков уже вернулись в город, в свои зимние квартиры. Летний сезон кончился.

Старый Токембай, местный сторож, с ружьем на плече дважды в день проходит по дороге перед окнами нашего дома, иногда останавливается, стучит в калитку, спрашивает по-казахски: «Сут, къатыкъ керекми?» («Нужно ли кислое или пресное молоко?»)

Если я ему кивну, то спозаранок следующего дня возле водопроводной колонки напротив дома появятся два кувшина: один с молоком, другой с катыком. Это значит, что еще затемно здесь побывала жена сторожа Хан Бу-бу.

Летом старик частенько посещает нас. Он косит траву вдоль арыка за домом, затем, просушив, вместе с сыном на тележке увозит ее домой. Живет он недалеко, километрах в двух отсюда, за железнодорожным переездом.

¹ Анхор — река в Ташкенте.

Солнце сегодня ярко блестит на небе, а тепла от него никакого. Деревья, трепеща остатками листьев, покачивая полуголыми ветками, то ли подвывают, то ли плачут — будят печальные чувства, затаившиеся в глубине моей души, заставляют вспомнить, что происходило в моей жизни давным-давно и казалось безвозвратно забытым. И от этого я чувствую внутри себя приятную истому и боль. Вызывается она мыслью о бесценной и честной молодости, которая никогда не повторится.

Самшитовое деревце, что растет за окном, раскачивается и порой сгибается от ветра до земли, и мне кажется: вот-вот оно сломается, но нет, вновь выпрямляет свое крепкое гибкое тело. Крымский самшит. Я привез его из Куш-Кая¹, аккуратно выкопав вместе с родной почвой и не повредив корней. Их было три, совсем молодых деревца с вечнозелеными листьями. Посадил здесь, около дома. Два из них сделали сначала красными, потом голубыми — даже внешне было видно, какая в них идет борьба за жизнь. Затем высохли, сломались, исчезли совсем. А этот, что за окном, сразу пустил почки, зазеленел, пошел в рост. Теперь, когда на него смотришь из окна комнаты, верхушки не видно. Самшит считался у нас в Крыму символом долгой и крепкой жизни. Это не могучее дерево, а кустарник. Когда щепка от него величиной с палец падает в воду, сразу тонет. Тяжелое очень.

В комнате темновато. Даже трудно различить, на какие цифры показывают стрелки настенных часов. А включать днем электрический свет не могу, глаза устают. Раньше со мной такого не было. Возраст...

В доме я один. Тихонько встаю из-за письменного стола, достаю из шкафа спички и зажигаю в черных железных канделябрах зеленую и красную свечи. В комнате растворяется розово-голубоватый свет, как перед восходом солнца над морским горизонтом напротив Чатырдага. Минуту-другую спустя свечи разгораются, пламя их вытягивается кверху и чуть колеблется. Время от времени они сильно потрескивают; как сосновые дрова. В комнате пахнет воском, я сижу на низкой широкой скамье посреди комнаты, вытянув ноги, и читаю рассказ о Микисе Теодоракисе в журнале «Ени хаят» на турецком языке. В нем рассказывается о том, почему Теодоракис стал коммунистом. «Первый

¹ Куш-Кая — скала над ущельем у подножия Ай-Петри.

раз я был заключен в тюрьму в 1942 году, когда Греция была оккупирована фашистами, — пишет Микис Теодоракис. — Я был тогда очень молод. Если сказать правду, еще не был полностью свободен от противоречивых полухристианских, полусоглашательских мыслей. С большими трудностями я раздобыл книгу, где рассказывалось о жизни Ленина. Эта умная книга переходила у нас в тюрьме из рук в руки. По ночам мы читали ее вместе вслух, а днем прятали под полом, ибо если бы ее обнаружили у нас, то всех немедленно могли расстрелять. Книга эта стала моим самым близким товарищем в годы оккупации...»

Теодоракису присуждена Ленинская премия за заслуги в укреплении мира между народами. Часто пишут о его сильном характере, о мучениях, которые ему, коммунисту, пришлось испытать в застенках...

Взгляд мой задерживается на картине, что лежит передо мной на полу. Это картина Серова «Татарские женщины». Высокий образец изобразительного искусства прошлого века. Она долго пролежала в гардеробе, прижатая к стенке картонной коробкой. Я случайно ее заметил. Вынул, развернул и положил на ковер. Разглядываю ее то слева, то справа, то сидя на скамье, то стоя. Не могу отойти. Две молодые женщины, две пери, одна в фередже¹; зная, что художник рисует ее, она опустила глаза и приподняла фередже, чтобы скрыть лицо, ибо шариат не позволяет молодой женщине открывать лицо перед чужим мужчиной. У другой, озорницы, лицо открыто. На голове красный фес со множеством золотых бляшек и голубой бурюмчик². Два сказочных создания. Прелестный дар природы, не поддающийся описанию. Они пришли в вечернюю пору к роднику с гугюмами набрать воды, но горячие их сердца переполнены любовью, они настолько увлеклись рассказами друг дружке, что гугюмы стояли в сторонке в одиночестве, забытые хозяйками. Две пери сидят на двух камнях, босые ноги опустив в ручей. А вода бежит, шумит, пенится, клокочет. Две красавицы поглощены разговором. О, эти горячие, игривые взгляды! О, счастливые матери, родившие вас!..

По одну сторону речки высокие скалы, по другую — фруктовые сады. А поодаль, внизу, перед кофейней стоят молодые йигиты в

¹ Фередже — чадра.

² Бурюмчик — тонкая шелковая накидка.

каракулевых шапках, там виднеются дома с красными черепичными крышами. Что это за местность? Какая деревня? Не Ай-серез ли? Не Уркуста ли? А может быть, Махульдюр, где осталось мое сердце, моя жизнь?

Взволнованный, я вновь встал с места, начал перебирать книги на полках, искать ту, где я смогу найти какие-либо сведения об истории создания этой картины. Долго искал и наконец нашел. Оказывается, Валентин Александрович Серов лето 1893 года вместе с семьей провел на летней даче Р. С. Львовой, на окраине Бахчисарая. «Татарские женщины», несомненно, тогда и были созданы. Картина эта побывала на многих выставках Европы, получила одобрение у знаменитых мастеров живописи.

Я с трудом оторвал усталые глаза от картины. За окном раскачивался от сильного ветра самшит, ветви его царапали стекло. Самшит... с вечнозелеными листьями. Другие деревья ломаются под ветром. Самшит не ломается. Суда, сделанные из металла, плавают в воде, не тонут. А это дерево тонет. Тяжелое...

Что это? Мне послышался звук автомобиля. Я прислушался. Тишина. Быть может, показалось?.. Или прогудел самолет, направляющийся в Москву? Они иногда имеют обыкновение пролетать над нашим домом... Но пока я размышлял, послышался автомобильный гудок. Стало быть, в дом ко мне пожаловал гость... Картину, что лежала на ковре, я прислонил к стенке и вышел в коридор. Подцепив ступнями терлики¹, подошел к входной двери и быстро ее открыл. Напротив стояли зеленые «Жигули». За рулем молодой человек с усами, краем рта зажата сигарета. На заднем сиденье человек лет пятидесяти с интеллигентным лицом. Я не сразу заметил, что правая дверца машины приоткрыта, и там, прислонившись к опорному столбу виноградного навеса, стоит старый человек в черной каракулевой шапке. Смотрит на меня с улыбкой и думает: «Я проехал тысячу километров, долго искал тебя в городе и наконец нашел тут, в этой хижине. Сделал то, что смог, на большее у меня нет сил. Любопытно, признаешь ли ты меня? Хорошенько взглядишь в меня! Если не узнаешь, то я не скажу, кто я! За рулем машины сидит сын моего внука: могу опять сесть в машину и уехать

¹ Терлики — кожаные тапочки без задников.

туда, откуда я приехал. Да! У меня хватит мужества поступить так! У нас, у крымских татар, немало презабавных причуд. Можно продемонстрировать перед тобой одну из них. Я приехал только для того, чтобы тебя увидеть, и увидел. А прочее для меня не имеет никакого значения...»

Между тем я, как только открыл дверь и увидел этого человека, сразу же узнал его.

— Почтенный муаллим, вы не представляете, как я рад видеть вас! — обратился я к старому человеку; голос у меня дрогнул, и тому была причина. Если бы я не узнал этого человека, мне сейчас было бы стыдно. Но я узнал его... И муаллим, кажется, был столь же поражен, сколь обрадован. Лицо его сделалось бледным, потом розовым... Я направился к нему со словами:

— Мой учитель, весьма благодарен вам за то, что оказали мне честь!

— Я хотел удивить вас своим внезапным посещением! — сказал он. — Но удивили меня вы. Не забыли, спасибо.

— Забыть... вас? Мыслимо ли это, муаллим? Вы были моим первым учителем... Прошу вас, входите в дом!

Я отступил немного в сторону, чтобы пропустить гостя вперед. Переступив порог, он обернулся и сказал человеку, сидящему на заднем сиденье машины:

— Ты, Селямет, поезжай! Тут, я полагаю, дела мои закончатся не очень скоро.

— Зачем же, оджа, — возразил я, — Селямету обязательно уезжать? Если он войдет в наш дом и выпьет фильджан кофе, от этого, думаю, не произойдет Ну-Туфан¹.

Однако гость ничего не ответил, словно не расслышал моих слов. Молодой йигит с сигаретой в зубах подал машину назад, развернул и погнал ее по асфальтовой дорожке к железным воротам.

Он не испытывал нужды ни в фильджане кофе, ни в разговоре, который должен был состояться между двумя старыми людьми. Мир, в котором живет Селямет, совсем иной. Он гидрогеолог. Работает на строительстве Чарвакской ГЭС, занят изучением нового метода укрепления обводного тоннеля. Говоря об этом, учитель проследовал в

¹ Ну-Туфан — светопреставление, всемирный потоп.

комнату. Как только мы остались одни, я обнял его, стал спрашивать о здоровье, жизни, а он — меня. Я двумя руками с двух сторон хлопал его по спине, а он — меня. Я, растерявшись, поцеловал его в правый висок, он прильнул лбом к моей щеке, прижался к моей груди. Наш ритуал встречи длился долго. А затем зашли в гостиную и сели на сет.

— Я расцениваю ваше посещение моего дома как оказанную мне честь. Великая благодарность вам, оджа! Если откровенно, то у меня не было надежды, что я когда-нибудь вас увижу. Скажите, муаллим, откуда вы и как оказались здесь?

Гость улыбнулся, он не торопился отвечать на мои вопросы. Он поудобнее расположился, подобрав под себя одну ногу, постепенно успокаиваясь, окинул взглядом комнату, в дневное время освещенную свечами. И, кажется, ему не просто было разобраться в мыслях, сложившихся у него обо мне в течение многих лет. Мы просидели некоторое время в тишине, затем сморщенные, как скорлупа ореха, веки гостя вздрогнули, и он внимательно посмотрел на меня:

— Конечно, не может не быть внезапным приезд человека, которому давно пора находиться в мире ином... Потому я не был уверен в том, что вы меня узнаете.

— Я в вашем приезде вижу какое-то счастливое предзнаменование. Согласно нашим традициям, учителя обычно посещает ученик. Но мы, мой муаллим, бывшие ваши ученики, растеряли многие из наших добрых традиций... Вы, мой учитель, помню, приехали в нашу деревню в период, когда создавалась новая власть. Весьма жестокими были те годы...

— Да, это так... Вы все были тогда маленькими чочами¹. Правда, я и сам был совсем еще юным... Потом я покинул вашу деревню. Вернулся в город, к родителям. Старший мой брат, Ариф-Мемет-ага, занимавший в семье место отца, встретил меня сурово. «Зачем ты приехал? Тебе разве не известно, что жизнь в нашем доме не очень-то сытная, — сказал он мне. — Я не в состоянии прокормить лишнего человека».

«Я приехал потому, что не мог иначе...» — ответил я.

¹ Чочами — пискуны, цыплята.

Брат долго молчал, думал, потом сказал: «Коль ты уж приехал, поезжай в Тотайкой¹, учиись там!»

Я подчинился Ариф-Мемету-ага, отправился в Тотайкой учиться. Окончил педагогическое училище. Отдел народного образования направил меня в Кучюк-Мускомью. В этой деревне я был какое-то время заведующим школой. А потом меня перевели в Бель-бек, где и назначили директором средней школы...

Я с большим интересом слушал своего учителя. Но, помня, что в доме я один и некому нам подать даже кофе, я воспользовался паузой и тихонько встал с места, чтобы пройти в кухню. Но муаллим остановил меня:

— Не трудитесь! Садитесь, поговорим немного! У меня для этого мало времени, всего полдня. Ночным поездом должен поехать в Шахрихан, — сказал он и, потянув за край моей безрукавки, усадил меня на место. Помолчал, пытаюсь вспомнить, на чем оборвалась его мысль...

Я напомнил ему, что он хотел рассказать о нашей деревне. Учитель снял каракулеву шапку с головы, положил ее рядом на стул. Сухощавой рукой, на которой выделялись голубые вены, провел по голове, словно приглаживая седые, коротко стриженные волосы. Я протянул руку, чтобы взять шапку и положить ее на тумбочку у стенки, но учитель отодвинул стул вместе с шапкой:

— Нет, нет, Аджи-гуджи! Пусть шапка будет около меня! — сказал он и улыбнулся.

Во дворе залаял Чалкаш, потом подхалимски взвизгнул и замолк. Если приближается чужой, то он лает зло и долго. А это, наверное, пришел кто-то из своих. Вскоре в прихожей и вправду послышались шаги и в комнату вошла Фатма. Она с утра отправилась в город и вот вернулась с продуктами. Я очень обрадовался ее появлению: ведь когда в доме гостит уважаемый человек, отсутствие женщины — для мужчины сущее наказание. Трудно сразу сообразить, что сделать, чтобы гость был доволен.

¹ Тотайкой — село, где было открыто педагогическое училище.

Учитель надел шапку¹ и, встав, познакомился с моей женой. Было нетрудно заметить, что эта шапка прослужила своему хозяину верой и правдой много лет.

Вскоре Фатма нам подала кофе. Мы пили кофе с плавающей сверху пенкой от молока с наслаждением. Я был неописуемо рад, что неожиданно-негаданно увиделся с первым своим учителем, а гость — тому, что увиделся со своим учеником. Я предлагал учителю попробовать виноград и яблоки, которые сам вырастил у себя в саду, очищенные орехи, что лежали в вазе, он благодарил меня, Фатму, но не прикасался ни к чему. словно не хотел ничем забивать рот, чтобы не прерывать беседы. Сидя на сете, он освобождал одну ногу, подгибая под себя другую. Временами устремлял на меня долгий взгляд, и мне казалось, что он хочет у меня что-то спросить, а возможно, поспорить, но не решается.

— Сколько вам лет, оджа? — полюбопытствовал я.

— Восемьдесят три, дорогой Аджи-гуджи! — ответил гость. «Машалла!» — мысленно произнес я и трижды сплюнул, чтобы его не сглазить. Человеку восемьдесят три года... А он такой крепкий, собранный, энергичный. Мне стало неловко за себя. Война меня сильно потрепала. Внешне не скажешь, что я моложе своего учителя. Меня все еще мучают после ранения боли в бедре и позвоночнике.

— У вас, мой учитель, только что с языка слетели этикие... гм... как бы это сказать, забавные словечки. Или мне послышалось? Но я вроде бы на слух пока не жалуюсь. Это прозвище, которое вы произнесли, всколыхнуло в душе у меня многое. Перед глазами возникло наше ущелье Яман-Гечти², и я почувствовал аромат высоких диких трав. «Аджи-гуджи»... Почему вы так называли меня, оджа?

Несомненно, прозвище это не без умысла произнесено учителем. Слова эти, прозвучавшие из его уст, имеют глубокий смысл. Но учитель не спешит с разъяснениями. Он вздохнул, опустил глаза, долго молчал, глядя на ступни в шерстяных носках.

— Нет! Я так... — проговорил он тихо и вроде бы смущенно. — Подумалось, что вам всего только восемь лет. Извините, я иногда живу теми событиями, что были тогда, и весь там... Вы помните, с кем вы

¹ Устаревший обычай: в знак уважения надевают головной убор.

² Яман-Гечти — Трудный переход.

сидели за партой? Вы сидели вдвоем с Эмине, дочерью Мемеда-Али. Иногда, когда вы с этой девочкой ссорились, она дразнила вас: «Аджи-гуджи мандалач. Аджнынынъ кызыны ал да къач!»¹ Помните, как вы сердились на нее? Однажды во время урока девочка не успела проговорить «аджи-гуджи», как вы толкнули её да так, что упала чернильница, скатилась, чернила пролились ей на платье. Эмине заплакала, выбежала из класса. Потом пришел ее дядя Абдулла, накричал на меня, оскорбил. Сказал, что лишит меня продуктов, которые я получал у Мемеда-Али.

— Прошу вас, оджа, обращайтесь ко мне, пожалуйста, не на «вы», а на «ты», как в прежние времена.

Учитель опустил голову, кивая в знак согласия. Помолчав, продолжил рассказ, обращаясь ко мне на «ты», но это длилось недолго, и он вновь стал произносить то «ты», то «вы».

В комнате было тепло, и он опять снял шапку, водрузил ее на правое колено.

— Тебе тогда было восемь-девять лет. А теперь ты известный человек, ты — моя гордость, обращаться к тебе на «ты» мне крайне трудно. Кроме того... волосы у вас на голове седые, как и у меня...

— Шестьдесят лет, уважаемый оджа, мы с вами не виделись. С ума можно сойти. Это — целая жизнь. Волосы мои поседели, оджа, это верно. Но волосы в этом не виноваты...

— Волосы, безусловно, не виноваты, — согласился учитель и глубоко вздохнул; чтобы скрыть от меня навернувшиеся слезы, он отвернулся к окну. — Так сложилась судьба. За то время, что прожили мы вдалеке от родной земли, мрамор раскрошился бы, железо заржавело бы и сгнило. А люди жили, как могли, и умирали. Каждый делал, что мог. Я — все тот же Абдурешид-оджа. Да, да, все тот же... С тех пор, как нам после отмены комендантского режима разрешили учительствовать, до последнего времени работал в школе. И еще была общественная работа на хлопковом заводе...

— А жив ли Ариф-Мемет-оджа?

¹ «Аджынынъ кызыны ал да къач!» — Умыкни и умчи на коне дочь хаджи! (человека, побывавшего в Мекке) — шуточная народная поговорка, смысл которой давно забыт.

— Мой старший брат? Увы, нет! — вздохнул гость. — Он пропал без вести во время войны. Прежде служил переводчиком на судне «Ильич», вы это знаете.

— Помню, — ответил я. — Мы с ним виделись в тридцатые годы. А до службы Ариф-Мемет был воспитателем у нас в интернате, когда школу открыли в бывшем здании Орта медресе.

— Неужто? А я об этом не знал.

— Ваш младший брат Усеин?..

— Тоже погиб. Под Москвой.

— Жаль! Очень жаль! А Зелиха-тата¹? Где она?

— Зелиха — мать пяти сыновей, теперь ей девяносто четыре года. Живет в Новороссийске у дочери и зятя. Старший сын ее, Билял, погиб под Бендерами...

Война принесла всем неисчислимое горе. Учитель тоже хлебнул его полной чашей. Мне было известно, что старший брат его, Амет, не вернулся еще с первой империалистической войны. А старшего брата оджи, Асана, человека высокого роста, всегда в широкополой шляпе и длинном сером плаще, я часто видел на центральных улицах Бахчисарая гордо восседающим на линейке, в которую впряжена пара лошадей. Он занимался хозяйственными делами в одном из учреждений. Теперь и его нет в живых.

Я подробно расспросил и узнал о судьбах всех родственников учителя. Он рассказывал о пережитом спокойно, хладнокровно, словно горе на душе у него истлело, все, о чем он говорил, происходило давным-давно, много лет назад, раны у него на сердце успели зарубцеваться, слезы до капли вытекли из глаз и высохли и все минуло, прошло.

Но прошло ли?

Много времени утекло, как закончилась война. Города и села, что были сожжены, разрушены неприятелем, уже восстановлены. Минули десятилетия с тех пор, как мужчины, вернувшиеся с войны, здоровыми ли, без рук ли, без ног, остановившись перед родным опустевшим домом, поклонились родному гнезду, поцеловали его порог и отправились искать свои семьи, не зная, где теперь они. Кто был послабее, те умерли. Выжили сильные. Кто остался, тот будет жить.

¹ Тата — старшая сестра.

Молодые женщины, лишившиеся мужей, постарели. Дети, случайно уцелевшие в оккупации от взрывов вражеских снарядов и пуль, а затем на чужбине переболевшие болезнями и голодом, выросли, стали взрослыми, у них тоже родились свои дети. Бабушки теперь рассказывают своим внукам о подвигах дедушек, которые были солдатами... Разбитые, искореженные пушки, танки, оставленные на полях сражений, давно переплавлены, окопы засыпаны землей, заросли травой. Однако слова «погиб», «попал в плен», «концлагерь», «газовая печь» все еще часты в устах людей, не перестают болеть оставленные войной в их сердцах раны.

Что я сказал? У муаллима спокойное лицо?.. Наверное, мне всего лишь так показалось.

— Знаете ли, — сказал гость, — я слышал много такого, что жуть берет, о гибели людей на войне. Когда слушаешь; сердце разрывается на куски. Но погибшим уже не помочь, их можно только помянуть добрым словом. А заботиться надо о тех, кто остался в живых, о внуках, появившихся на чужбине, чтобы услышали зов родины и познали сладость ее воздуха...

Слушая учителя, я вспомнил моего старшего брата Юнуса. Перед войной он учительствовал в деревне Лимена. На войну мы с ним ушли в один день; только он из Лимены, а я из Симферополя. Когда кончилась война, я искал Юнуса в течение тринадцати лет. Из Бугуруслана получал ответы на свои письма: «погиб», «пропал без вести», «попал в плен». Я не поверил этому. А почему, и сам не знаю. Как будто кто-то нашептывал; «Жив он, жив!» В конце концов, нашел я брата. Он, оказывается, проживал на хуторе Земных в Волгоградской области. Правую ногу он потерял на Сталинградском фронте. Правая рука тоже покалечена двумя разрывными пулями. Поехал я и привез брата в Ташкент. Время уже было новое: военкомат предоставил Юнусу квартиру, легковую автомашину «Запорожец». Он жил, вроде бы не зная нужды. Однажды, зайдя его навестить, я ему сказал: «Почему ты ходишь на деревянной ноге, вытесанной топором на русском хуторе? Ты же получил протез!..» На это он ответил: «Я не могу приладить к себе эту фабричную ногу... Для того, чтобы прикрепить ее, у меня должен быть хотя бы обрубок ноги, а его у меня нет...» Когда старший

брат мне это говорил, сердце мое сжалось, а глаза наполнились слезами.

Через несколько недель я снова проведаль брата. Чертовски трудное у него было положение. «Ты, братец, мало двигаешься. На этой самодельной ноге ты не можешь толком ходить, — сказал я ему. — И от этого толстеешь. Толстеть ни для кого не полезно. Если тебя не устраивает протез, то попробуй ходить на костылях! Быть может, с ними тебе будет легче!»

Юнус обиделся на меня: «Разве ты не видишь, что правая рука у меня словно омертвела, повреждены нервы? Ею держать костыль и прижимать под мышкой невозможно. Это у меня не рука, а кусок дерева. Не веришь — посмотри!..» Он левой рукой стянул с себя рубашку и повернул ко мне правое плечо. Я увидел у него под мышкой два глубоких углубления голубоватого цвета. Мне стало трудно дышать, и я быстро отвел взгляд в сторону. Две отметины, оставленные в теле двумя осколками. Теперь я заметил, что эта его рука по сравнению с другой тоньше. Я быстро помог Юнусу надеть рубашку. Мы оба сели на миндер и долго молчали. Юнус старше меня на три года. Он о чем-то задумался, а я не хотел ему мешать.

Брат окончил Ялтинский педагогический рабфак, женился в деревне Лимена на простой девушке из крестьянской семьи. У них родились дочь и сын. Когда Юнус уходил на войну, дети были совсем маленькие. На фронте Юнус был командиром взвода, воевал в Сталинграде. Там его и покалечило... Когда он выписался из госпиталя, Крым еще был под немцем, Юнусу податься было некуда. Добрая русская женщина Фрося на хуторе Земных приютила его у себя дома, стала кормить и выхаживать. А спустя несколько месяцев Юнус узнал, что ни жены, ни дочери, ни сына в Крыму теперь нет, их выслали то ли в Сибирь, то ли в Среднюю Азию. Он чуть не умер от горя... И, наверное, умер бы, если бы узнал о том, как его жену и детей привезли в Узбекистан, выгрузили в пустыне: «Живи, как сможешь!..» Не все смогли выжить. Через четыре месяца жена умерла с голоду, дочку Гуляру взяла к себе узбекская семья, сына Сейрана усыновил казах. Так они, дети Юнуса, много лет прожили в разных семьях, пока я не нашел их так же случайно, как самого брата.

«Ты у меня редко бываешь! — упрекнул меня Юнус. — Что, некогда?..» Я опустил голову, разглядывая желтые узоры паласа. Почему я прихожу к нему редко? Как объяснить?

«Дорогой братишка, — вздохнул я. — Времени не хватает». «Ты едешь на Устюрт и в Гузар, месяцами пребываешь среди буровиков... Едва возвратишься и снова едешь в Каршистрой! На эти поездки у тебя времени хватает, а зайти ко мне, справиться о моем здоровье тебе некогда», — обиженно проговорил он.

Что я мог на это сказать? Это, разумеется, упреки, которые всегда высказываются друг другу родственниками. Что правда, то правда: почти никогда у людей не хватает времени, чтобы провести, порадовать своим появлением родственника, старшего по возрасту.

«Почему, ага? Я ведь не совсем уж бессердечный, каким ты хочешь меня представить, понимаю твое положение, сам на войне был, участвовал в боях и тоже был тяжело ранен. Знаю, что это такое. Когда время позволяет, прихожу к тебе, справляюсь о твоём самочувствии. Однако бывать у тебя каждую субботу... нет, ага, у меня нет такой возможности. Я ведь тоже не молод!»

Юнус кивнул; соглашаясь со мной, однако хотел, видно, возразить... но промолчал.

А совсем недавно мой брат Юнус скончался. Крымские татары, проживающие в поселке рядом с абразивным заводом, похоронили его на мусульманском кладбище.

— Вы, уважаемый оджа, братишку моего, Юнуса, наверное, помните? Он учился у вас. В числе тех двенадцати парней, которых вы отобрали, чтобы послать на учебу в Ялтинский рабфак, был и он. Теперь Юнуса нет на свете... Ну, как, скажите, не думать об умерших?

Учитель — старый человек, сердце у него не крепкое. Я пожалел, что лишний раз напомнил ему о горестном. Заметив, как он провел пальцами по глазам, вытирая слезы, прекратил этот разговор.

Ветер усилился. Самшит под окном раскачивался, издавая глухой, печальный звук, и царапал ветвями окна.

В комнату тихонько вошла Фатма.

— Вижу, разговор у вас невеселый... По-моему, в самый раз сделать небольшой перерыв, — сказала она. — Я приготовила на скорую руку обед!

Сказав так, жена краешком глаз указала мне на гостя: вставайте, мол, иначе обед остынет! Я поднялся.

— Прошу вас, оджа! — обратился я к своему учителю. — Пойдемте немного подкрепимся!..

Гость, однако, не спешил вставать, словно ждал чего-то, хотел что-то сказать.

— Гость... стало быть, он непременно голоден, не так ли? — усмехнувшись, заметил он. — Я увидел вас через шестьдесят лет и едва ли снова увижу! А с обедом ничего не станет. Я должен тебе много сказать...

— Это верно, обед не убежит, но остынет. Остывший обед уже не обед, — ответил я. — Сначала пообедаем! Пожалуйста!

Учитель, вынужденный подчиниться нашим старым, как мир, ритуалам гостеприимства, все же поднялся с места.

А потом мы вновь вернулись в гостиную. Учитель, приподняв манжет серой рубашки, посмотрел на ручные часы.

— Боюсь, Селямет, закончив в Чарваке свои дела, вот-вот объявится здесь, и мне придется уехать в Ташкент. Наша беседа прервется, и я не успею наговориться с тобой...

— Зачем спешить?.. — сказал я. — Останетесь у нас. Будем говорить всю ночь, а завтра провожу вас сам.

— Это исключено, — ответил Абдурешид-оджа. — Утром дочь будет встречать меня на Андижанском вокзале. Билет у меня в кармане. — Немного подумав, он добавил: — В моем возрасте человек обязан умело пользоваться временем, имеющимся в его распоряжении, не быть расточительным...

Мой первый учитель! Действительно, мы встретились после целой вечности!.. Какой чудесный день сегодня! Конечно, в душу прихлынуло много печали, и все же в этой встрече радости больше. Не важно, что от волнения путались мысли, хотелось расспросить гостя о многом, но часть вопросов забывалась. В нашем возрасте это немудрено. Но вот следы, отпечатавшиеся в моей памяти еще в детстве, вдруг обнажились. И ожило передо мной, как учитель в классе вызывал нас к доске и заставлял писать мелом белые буквы и как мы потом с великим трудом читали их, эти неумело выведенные детской рукой буквы.

— В каком году вы приехали в нашу деревню, оджа? Не в восемнадцатом ли?

— Нет. В восемнадцатом в вашей деревне еще были врангелевцы. Я приехал позже.

— И уехали, я помню, внезапно. Мне тогда было десять лет, Я часто вспоминал вас. Хотел вас видеть, чтобы спросить... Ведь мы даже не успели узнать, как вы оказались у нас, в нашей деревне Махульдур. Мы не догадались у вас об этом спросить, мы были маленькими. Некоторые учителя во время уроков сами рассказывают о своей жизни. И это интересно. Но вы, оджа, только и знали, что вызывали нас к доске, учили писать и читать...

— Время моего учительствования в вашей деревне было короткое, но историю оно имеет длинную. Я испытал там не только горе, но и радость. Врангелевцы, уходя из Крыма, оставили после себя разруху, голод... Вы говорите, я о себе не рассказывал. Что я мог рассказывать о себе? Тогда у меня и не было-то биографии... Ведь исполнилось мне всего девятнадцать... Родился я в Бахчисарае, в первом году нового, как теперь говорят, беспокойного и богатого перемены века, в религиозной семье. Отец, Селямет-эфенди, был учителем, преподавал в школе в махалле Арслан-ага. На средства «Джемиети Хайрие»¹ он построил новое здание школы и сам стал заведующим в ней. И с гордостью могу сказать, что ставшие впоследствии в Крыму известными людьми Осман Зекки, Умер Ипчи, Якуб и Февзи Мусанифы, Усни Пенирджи, Абдулла Сеит-Умер, Якуб Куркчи² учились в этой школе. В тот год, когда началась первая мировая война, отец мой умер. Положение нашей семьи ухудшилось. Я пошел в Салачик к своей тете и стал жить у нее. Два года был приказчиком в продуктовой лавке дяди. Когда дела у нас немного наладились, я вернулся в город и поступил учиться в Дарлмуаллимин³.

Мне помнится, Бахчисарай был освобожден от врангелевцев 14 ноября 1920 года. Спустя шестнадцать дней после этого из деревни Махульдур приехал на линейке учитель Исмаил Акки-эфенди, чтобы подыскать учителя для местной школы. Я об этом, разумеется, ничего

¹ «Джемиетн Хайрие» — благотворительное общество.

² Деятели культуры, поэты, писатели.

³ Дарлмуаллимин — средняя школа.

не знал. Исмаил-эфенди встретился с заведующим земской школы, что находилась рядом с Туз базары¹, и попросил его порекомендовать учителя для махульдурской школы. Директором тогда у нас был Ягъя Наджи Байбуртлы, он-то и счел самым подходящим для учительства в вашей деревне меня. Посоветовался с моим старшим братом Ариф-Меметом, преподававшим в той же школе, и срочно вызвал меня. Я примчался тотчас. Ягъя Наджи сказал; «Хотим тебя послать учителем в школу деревни Махульдур! Поедешь?» Я растерялся. «Я же сам учащийся Дарлмуаллимина. Могу ли я быть учителем?» — подумал я. Но Ягъя Наджи был одним из самых уважаемых людей в городе, возражать ему было нельзя. Я долго молчал. Поняв мое состояние, Ягъя Наджи и Ариф-Мемет-ага стали меня уговаривать: «При царе наш народ был лишен человеческих прав. Наконец пришла власть, которую ждали трудовые люди. Она дала нам право учиться, получать образование, — говорил Ягъя Наджи Байбуртлы. — Если ты не будешь учить детей бедных крестьян, я не буду учить, твой Ариф-Мемет-ага не будет учить, тогда кто же их чему-то научит? Татарин будет по-прежнему прозябать в темноте! Долго думать у тебя нет времени. Поезжай в Махульдур, поработай там! Мы занимаемся сейчас подготовкой учителей для деревенских школ. Когда они окончат учебу, то разъедутся по волостям и будут обучать детей бедных крестьян. Тогда, если пожелаешь, мы тебя отзовем обратно...»

Ягъя Наджи умел убедить любого, он был очень образованным человеком. Ариф-Мемет-ага тоже ему поддакивал. И Исмаил Акки-эфенди давай уговаривать. Втроем они уломали меня стать учителем до окончания школы. Я согласился.

Во дворе школы стояла линейка, на которой приехал учитель Исмаил Акки-эфенди. На ней подремывал, укутавшись в тулуп, кучер, крестьянин Ибрагим-ага из Махульдура. Я уселся на мягкое сено. Рядом расположился Исмаил-эфенди. Мы поехали прежде всего ко мне домой, чтобы я попрощался с матерью. Мама оглядела мою еще детскую фигуру, растрогалась, расплакалась. А когда я направился из дому, она всучила мне в руки узелок: «Возьми, сынок! Рубашка, носки, полотенце нужны будут!» Я сел на линейку, и мы отправились в

¹ Туз базары — базар, где торгуют солью.

Махульдур. Было морозно. Из-под копыт лошадей вылетали белые ошметки снега.

Проехали по улице Осман-ага, мощенной булыжником, миновали Кемер-Капу¹, не доезжая Фенер-Буруна, повернули налево, на Эски-юрт², и выехали наконец из города; теперь держали путь в сторону Теле.

Когда мы миновали деревню Сюйрен, перед нами открылась красивая панорама горной долины. Эти места даже в зимнюю пору имели чудесный вид, ласкающий человеческую душу. Река в белых берегах несет свои мутные воды со стороны Ай-Петри, бурлит, шумит, убегает в сторону Диванкоя, спешит к Черному морю. По обоим берегам ее темнеют сады. Сквозь деревья проглядывают дома с черепичными крышами. За деревьями возвышаются горы, покрытые снегом. Солнце то показывается из-за туч, заливая теплом и золотистым светом долину, то прячется. Лошади бегут рысью. Встречный ветер, влажный, холодный, проникает под одежду. Пальтецо на мне не особенно теплое. Да и ноги мерзнут. Но молчу, терплю. Однако, наверное, посинел. Ибрагим-ага поглядывает на меня, кажется, он догадывается о моем состоянии, натягивает вожжи. Лошади переходят на шаг.

«Слазь, пробегись немножко, пройдишь пешком!» — советует он. Я по неопытности отказываюсь от совета. Он догадывается, что я стесняюсь Исмаила-эфенди. Привязывает концы вожжей к железному крючку и, произнеся «Бисмилля!»³, сам спрыгивает на землю. Он шагает рядом с линейкой. И краешком глаза поглядывает на меня. Глаз у него слезится. В деревне его зовут Кёр-Ибрагим, Кривой Ибрагим. В детстве он играл с патроном, бросил его в огонь, патрон взорвался, повредил ему глаз... Снова поглядывает на меня. Может, думает, что я боюсь спрыгнуть на ходу? Сделать это было не просто ему, Ибрагиму-ага, он правил лошадьми. И место его впереди; чуть ли не у самых ног лошадей, а снизу парки, поворотный полукруг, дышло, оттуда без сноровки просто так не спрыгнешь. Но он спрыгнул. Я сижу сбоку, ноги мои на подножке, даже на большой скорости легко могу спрыгнуть.

¹ Кемер-Капу — городские ворота.

² Фенер-Бурун, Эски-юрт — названия кварталов.

³ Бисмилля! — Господи, благослови!

Однако сижу, не шевелясь, съежившись, засунув красные руки в рукава, хочу спешиться, но не слезаю...

Ибрагим-ага снова оборачивается ко мне: «Ну, ты сойдешь или нет? А то вместо учителя привезем мы в Махульдур кусок льда!» Мне кажется, что он уже смеется надо мной, и я прыгаю с линейки. Ибрагим-ага замедляет шаг. Мы идем рядом. «Тебе в нашей деревне будет хорошо! Исмаил-эфенди сильный учитель, — говорит он мне и кивком головы показывает на скамейку; линейка с одинокой фигурой учителя уже далеко впереди. — Построим тебе дом. Потом женим тебя. — И при этом смотрит на меня. — Или ты, может, уже женатый?» — А глаз у самого смеется. Я молчу, не знаю, что сказать. Он замечает, что смутил меня, и меняет тему разговора: «Кем Ариф-Мемет-оджа тебе приходится? Родной брат?» Я киваю. «Ну, шагай энергичнее! Быстрее, быстрее! — говорит Ибрагим-ага. — Если так медленно будем идти, то никогда не согреемся... В деревне мы тебе сошьем шубу. Будешь щеголять в ней, как русский купец... Мерзнуть в ней не будешь, нет! Ну что ты все молчишь?» — смеется забавно.

Но я едва разомкну челюсти, зубы у меня начинают стучать. Что ему сказать? Если человек наденет шубу, разумеется, ему будет тепло. Это каждому известно. Ибрагим-ага иногда ускоряет шаги, и я еле за ним поспеваю. Я приноравливаюсь к нему. И вскоре в самом деле согрелся, даже вспотел. Похоже, Ибрагим-ага устал; заметив, что впереди начинается спуск, он сказал: «Ладно, согрелись, теперь можно сесть и на линейку!»

Мы догнали линейку, взобрались на нее. Лошади упитанные, идут резво. Вскоре мы достигли Албата. Когда мы ехали серединой деревни, Ибрагим-ага кивнул на коричневую корову, привязанную к дереву перед кофейней. Возле нее толпилось несколько мужчин. Они гладили животное по спине, животу, щупали вымя, что-то обсуждали, с сомнением пожимали плечами.

Когда мы проехали деревню, Ибрагим-ага вдруг коротко хохотнул и обернулся к нам:

«Обратили внимание на корову? Продается, видно...»

Исмаил-эфенди пожал плечами, он не собирался приобретать корову. Ибрагим-ага снова обернулся и наклонился к нему, словно хотел поведать секрет:

«Корову, говорю... заметили возле кофейни? В особенности ее ноги?»

«Ноги? — удивился учитель и заморгал глазами. — А что с ее ногами?»

«Уж больно длинные. И, судя по телосложению, она, похоже, очень ловкая, любой забор преодолевает без помех. А если корова перепрыгивает через забор чаира¹, стало быть, она вредная и опасная. Спасать огороды соседям от нее будет непросто. В деревне все будут проклинать владельца такой коровы. У такой и молока-то бывает мало. Когда мы утром проезжали тут в город, корова эта стояла здесь, привязанная к дереву. Теперь возвращаемся а она все еще стоит. Покупатель не находится...»

Впереди показался деревянный мост. За ним от дороги убегает неширокий проселок, вьется вдоль речки, она ведет на Отарчык. Наша линейка покатила прямо. Дорога стала забираться вверх. Когда мы въехали в деревню Фотисала, она снова пошла полого.

Ибрагим-ага остановил линейку на повороте, в центре, около пекарни. Исмаил-эфенди сошел с линейки, вынул из кармана кисет, попытался свернуть сигарку, но ветер сдувал махорку с клочка газеты. Он отказался от своего намерения, сунул кисет обратно в карман и зашел в пекарню. Вскоре он выглянул оттуда, приоткрыв дверь, и помахал нам, приглашая тоже туда зайти. Мы с Ибрагимом-ага не заставили себя ждать. Учитель предложил нам занять место за столом и сам сел. Пекарь принес и положил перед каждым из нас по небольшому горячему янтыку. Мы съели янтыки и выпили по мешребе² бузы.

Исмаил-эфенди — плотный мужчина лет пятидесяти, высокого роста, с короткой бородой, густо тронутой сединой. Он пил бузу и, украдкой поглядывая на меня, улыбался.

«С Ариф-Меметом я давно знаком, — сказал он. — Но я не знал, что он ваш брат. Мы учились вместе в Зынджырлы-медресе³»,

¹ Чаир — земельный участок.

² Мешребе — медная кружка.

³ Зынджырлы-медресе — в Бахчисарае в средние века исполнял роль университета.

Муаллим подозвал пекаря, попросил получить деньги. Тут и Ибрагим-ага спохватился, тоже сунул руку в карман за кошельком, но Исмаил-эфенди ему не позволил платить. Кто угощает, тот платит, таков закон восточной этики.

Мы выехали из Фотисалы, копыта лошади гулко простучали по настилу деревянного моста. Возле волостного управления, на перекрестке почтовых дорог, соединяющих деревни Кок-Коз и Озенбаш, стояло высокое каменное здание, каких я прежде не видывал.

«Что это? — спросил я Ибрагима-ага. — Завод какой-нибудь, что ли?»

«Нет... — отрицательно покачал он головой. — Местность эта называется Дут-Багча (Тутовый сад). А здание — паровая мельница Мемеда-Али-бея из нашей деревни. Его младший брат Осман-бей живет тут. Странное дело, говорили, мол, порядок в стране изменился, вся собственность богачей перешла беднякам, а в нашей волости ничего не изменилось. На паровой мельнице Мемеда-Али и два года назад брали с крестьянина капич¹ — два фунта с пуда пшеницы, и две недели назад, и теперь столько же берут».

«Знаете ли, Ибрагим-ага, — сказал я. — Завоевать власть, безусловно, нелегко, но пользоваться этой властью, управлять еще труднее. Это не мои слова, они сказаны великим человеком. Я их где-то читал. Мало лишить Осман-бея власти, надо еще отобрать ее у него. А сделать эти два дела одновременно — крайне сложно. Требуется время...»

На перекрестке у моста в деревне Гавр мы повернули направо. И тут начался самый трудный участок пути. То подъем, то спуск. Колеса линейки подпрыгивают на камнях, лошади спотыкаются, линейка раскачивается, накреняется то влево, то вправо, трещит, и кажется, что вот-вот она развалится. А линейка, как я заметил, новая, легкая. Как же другие подводы тут ездят, ума не приложу. Перед нами возвышаются высокие горы со снежными шапками, с той стороны время от времени доносятся глубокие, глухие звуки, будто горы вздыхают. Это снежные глыбы срываются и падают в ущелье. А внизу, в долине, видны сады и рощи чинар. Наступает вечер, сгущаются сумерки. Ибрагим-ага взмахивает кнутом, поторапливает лошадей, выговаривая: «Ну-ка, мои

¹ Капич — натуральная плата за помол.

гнедые! Поднатужьтесь еще немного! Уже почти приехали!» Но спин их плеткой не касается. Стегать их вовсе не обязательно, лошади и без того стараются, сами знают, что приближаются к деревне, где их ждут теплая конюшня и корм, да мчаться по такой дороге не могут.

Из-за гор взошла луна, на небе выпали звезды. Вскоре стали доноситься лай собак, мычание коров. В нижней части деревни, возле кладбища, за поворотом показался большой дом с застекленной и ярко освещенной верандой, рядом с ним длинный табачный сарай. «Дом бея Мемеда-Али», — сказал Ибрагим-ага.

Линейка вкатилась на подъем, мы миновали каменный мост, а еще через несколько минут остановились напротив фонтана, где сельчане, как видно, берут воду. Исмаил-эфенди слез с линейки, поразмял ноги.

«Сегодня переночуете у Ибрагима, — сказал он. — Завтра встретимся в школе. А сейчас спокойной ночи...» — и по узенькой улочке направился вниз, вскоре тень его растаяла в темноте, стихло шарканье шагов.

Время для деревни было позднее, в сельской местности люди ложатся рано. С возвышенности, где мы стояли, виднелась почти вся освещенная луной окрестность, леса, скалы. Позже я узнал, что это место называется Кыр Устю (Верхушка горы). Девятнадцать лет живу на земле, но такого сказочного, прекрасного места, покрытого лесом, я еще никогда не видел! С этого дня я буду жить в этом диковатом, не изменившемся с той поры, как его сделал Создатель, мире?

Я стоял и заворуженно смотрел по сторонам, на высокие горы, словно сделанные из серебра, прислушивался к тишине.

«Хорошо, полюбуйся», — сказал Ибрагим-ага и, погнав линейку по дороге, скатился вниз, въехал в большой двор, распряг там лошадей, завел в конюшню. Все это я видел. После этого Ибрагим-ага по крутым каменным ступенькам поднялся наверх и прямо со двора через калитку вышел к тому месту, где меня оставил.

«Это наш дом, — сказал он, показывая на довольно большое строение, один конец которого упирался в гору, а другой терялся в густой темноте. — А это ...» — он кивнул в другую сторону и указал на широкую дверь стоящего неподалеку дома с высокой островерхой крышей. — А это наша кофейня».

Что значит «наша»? Общедеревенская или собственная, самого Ибрагима-ага? И вообще, многое понять в деревне, наверное, не просто. Но все непонятное со временем становится понятным.

Ибрагим-ага и я спустились по каменным ступеням во двор. Мы поужинали. За софрой¹ собралась вся семья. Жена хозяина дома, Раимэ, простая, очень подвижная, приветливая женщина. Их старшая дочь, Зейнеб, красивейшее создание. Младшая дочь, Зенифе, озорница и хохотушка. Сын Юсуф в отличие от сестер малоразговорчив, серьезен, как и подобает йигиту. Ибрагим-ага, посмеиваясь, в смешных выражениях рассказывал жене, детям, как они с Исмаилом-эфенди долго собирались и наконец специально поехали в Бахчисарай и привезли меня в Махульдур.

В доме было много комнат. Меня уложили спать в самой крайней, в мягкой постели, дали новое ватное одеяло, которое слегка пахло фесильгеном². Я долго лежал с открытыми глазами, не мог никак заснуть, все думал... О том, что же буду говорить ученикам, когда начну с ними первое занятие. Старался представить себе выражение их лиц... Откуда-то, из земных ли недр, из ущелья ли, доносился шум воды...

Утром я встал рано. Открыв одну створку окна, выглянул. Меня взяла оторопь, когда увидел, что дом стоит на самом краю обрыва; внизу, шумя, текла река. Вчера я не заметил этого, окидывая взглядом окрестность с Кыр Устю. А сегодня передо мной открылась красота природы во всем своем величии: глубокое ущелье, белый, пенящийся поток внизу, отвесные скалы, макушки которых уже высветило солнце.

После того как мы позавтракали, выпили кофе, Ибрагим-ага повел меня в Нижнее маалле, где находился дом, предназначенный для приезжего учителя. Пожилая, но еще крепкая, высокая и строгая женщина встретила нас довольно приветливо, угостила кофе с жирной пенкой молока.

«Вот, привел вам нового учителя, — сказал Ибрагим-ага хозяйке дома. — Зовут его Абдурешид-эфенди. Мы, Саабе, с тобой договаривались обо всем, не так ли?»

Женщина, кивнув, встала с места, открыла дверь в соседнюю комнату:

¹ Софра — круглый стол на коротких ножках.

² Фесильген — базилик.

«Комната Абдурешид-оджа! — сказала она учтиво. — Зайдите, посмотрите!»

Ибрагим-ага и я зашли. На полу белый войлок. Вдоль стен постланы миндеры. В углу сложены большие подушки и накрыты пешкиром¹, в другом — постель. На окнах тюлевые занавески.

Ибрагим-ага, протерев платочком глаз, посмотрел на меня: ну, как, устраивает? А какие для меня требовались удобства? Достаточно, что будет над головой крыша, а подо мной постель. Я сказал, что меня комната устраивает, поблагодарил Саабе-апте, выразил уверенность, что тут мне будет несколько не хуже, чем дома.

«Еду для учителя будут приносить из дома Ислам-бея, — сказал Ибрагим-ага, обращаясь к хозяйке. — Однако, я полагаю, вы не сочтете за труд, если по утрам Абдурешиду-эфенди будете предлагать фильджан кофе и разок в неделю постираете ему белье, не так ли, Саабе?»

Женщина опустила глаза, не ответила. Ибрагим-ага постоял в ожидании, что она скажет, но, не дождавшись, легонько дернул меня за рукав, и мы вышли вдвоем во двор. Он положил руку мне на плечо, хотел что-то сказать, но на пороге дома показалась Саабе:

«Фильджан кофе по утрам... это — ничего! — сказала она, — а вот для стирки найдите другого человека. Стирать кальсоны чужого мужчины я не стану».

«Стиркой я вас не обременю! — поспешил, я заверить Саабе-апте. — Белье себе и сам постираю. И кофе даже не стоит варить, я прекрасно могу обходиться и без него».

Ибрагим-ага ничего не сказал, не спеша направился к воротам. На полпути приостановился, поманил меня пальцем. Я подошел.

«Что вы намерены сейчас делать? — спросил он. — Как вы вчера договорились с Исмаилом-эфенди?»

«Должны встретиться с ним в школе».

«В таком случае можете идти, он, скорее всего, уже там... Во-он речка... — указал он рукой на запад — Видите? На том берегу, второй дом слева — это и есть школа. Прочие дела с Саабе я сам улажу».

Ибрагим-ага ушел домой. А я свернул к дороге, довольно круто спускавшейся к ущелью. Миновал Джума-Джами и вышел к речке. Над

¹ Пешкир — тонкая, вышитая накидка.

деревней нависали отвесные скалы, за ними виднелись горы. У моих ног, шумя в каменистых обледенелых берегах, стремительно неслась вода и метрах в ста низвергалась в глубокую бездну, издавая дикий вой и гул, и там над огромными кряжистыми ореховыми деревьями висела радуга.

Перейдя каменный мост, я немного прошел по дороге и вскоре за низкой каменной оградой услышал голоса детей. Открыв калитку, я увидел большой двор, по которому носились мальчишки и девчонки. Поодаль виднелось одноэтажное длинное здание. Штукатурка от стен во многих местах отвалилась. Это и была школа. По широкому коридору тоже бегали дети. Шум, крики. Признаков того, что занятия начались, пока нет. Я спросил учеников, где Исмаил-эфенди, Они показали на дверь в конце коридора. Я постучал, ответа не последовало, и я приоткрыл дверь. Исмаил-эфенди, сидя у железной печки, грел руки. А рядом стояли худощавый, но крепкого сложения мужчина и одетая по-европейски молодая женщина. Они о чем-то разговаривали. Исмаил-эфенди заметил меня и махнул рукой:

«Входите, Абдурешид-эфенди!.. Новый учитель, Абдурешид Селямет-оглу! Младший брат Ариф-Мемета-эфенди, — представил он меня собеседникам. Я ответил, как принято, поклоном. — Позвольте, Абдурешид-эфенди... перед вами учителя русского языка Ягъя-эфенди Баирашевский и Сафие-ханум Байрашевская!..»

Мы обменялись рукопожатиями, справились друг у друга о здоровье. Исмаил-эфенди предложил мне сесть.

«Абдурешид-эфенди еще молод, — сказал он. — Опыта у него по преподаванию нет, но обладает большими знаниями. Я уверен, опыт он приобретет очень скоро, — потом, обращаясь ко мне, добавил: — Родной язык преподавал я сам, а иногда делили классы пополам и вели уроки вдвоем с Леманом-эфенди. К сожалению, он умер, пусть пухом ему будет земля, большой культуры был человек. Теперь его замените вы. Вам, Абдурешид-эфенди, будет лучше начать работу с самого начала, поэтому первый и второй классы я закрепляю за вами. Обучайте и воспитывайте! — поднял вверх указательный палец Исмаил-эфенди. — Воспитывайте в духе новой власти, в духе Советов!»

«Согласен, — ответил я. — Любое дело надо начинать сначала. Будут, разумеется, трудности. Тогда за помощью буду обращаться к вам! Надеюсь, не откажете в совете».

Исмаил-эфенди заверил, что он всегда готов оказывать мне помощь, затем вытащил из кармана жилета часы с золотой цепочкой, глянул на них и сказал Сафие-ханум, что пора начинать занятия. Сафие-ханум поспешно вышла в коридор, сказала дежурному, чтобы он «дал звонок» на урок. Вскоре раздался приятный звон. Для этого в сельских школах использовали чаще всего медные колокольца, которые подвешивают на шею баранам.

Ученики начали заполнять классы, сотрясая топотом ног стены и пол. Заведующий, сделав мне знак, чтобы я последовал за ним, вышел из учительской. Я схватил классный журнал и последовал за ним. Мы вошли в класс. Ученики встали. Исмаил-эфенди движением руки разрешил им сесть. Затем представил им меня.

«С сегодняшнего дня учить вас будет Абдурешид-эфенди, — сказал он. — Вы должны уважать и слушаться нового учителя, приходить на уроки, не опаздывая, уходить с уроков только с его разрешения...»

Пожелав теперь уже моим ученикам успехов, он оставил нас.

Я положил классный журнал на стол и поздоровался:

«Здравствуйте, дорогие мои ученики!»

Принято ли такое обращение к ученикам первого и второго классов, я не знаю. Никто меня не учил, как надо начинать свой первый урок. Я начал его этими словами. И дети, оживившись, просяяв, ответили в один голос:

«Здравствуйте, уважаемый наш учитель Абдурешид-эфенди! Мы рады вашему приезду!»

Нет, если уж быть до конца откровенным, ответ у ребятишек получился неслаженным, кто-то произносил одни слова, кто-то другие, третьи, растерявшись, и вовсе молчали. Но я четко расслышал в их нестройном хоре: «Здравствуйте, уважаемый наш учитель Абдурешид-эфенди! Мы рады вашему приезду!» — и эти слова меня крайне растрогали.

Откуда дети знали, что мне будут приятны именно эти слова? Кто научил их?

— Я буду учить вас читать, писать, овладевать грамотой. Если будете прилежно учиться, станете образованными людьми! — сказал я.
— Называть меня можете Абдурешидом-муаллимом! Договорились?

— Да-а!

— Договорились!

Так началась моя учительская деятельность. Как сегодня утром справедливо заметил Исмаил-эфенди, учительского опыта у меня не было вовсе. Но заведующий земской школой Ягя Наджи, направляя меня в эту школу, сказал: «Если ты не будешь учить детей бедных крестьян, я не буду учить, Ариф-Мемет не будет учить, кто же их чему-то научит?» Его голос так и звучал у меня в ушах. Какими методами буду пользоваться, я еще не знаю. Это покажет работа. Работа в новой школе...

Я открыл классный журнал. В нем красивым почерком Исмаила-эфенди был написан арабским шрифтом список учеников. Напротив фамилии каждого ученика поставлены отметки, по которым можно судить, кто как учится. Я перевернул страницу и своей рукой написал: «Второе декабря 1920 года». Затем я попросил учеников показать мне свои тетрадки. Для учеников первого класса настоящего букваря нет. Ребяتيшки вынули тетради из своих матерчатых, сшитых дома сумок и положили на парты. Я прошелся по классу, просмотрел тетради. А потом вызвал к доске девочку, попросил написать ее: «Мама. Папа. Крым — моя родина». Она старательно выводила мелом буквы, ровные, красивые, ни единой ошибки...

В классе было довольно прохладно, дети сидели в верхней одежде. Ребяتيшки сказали, что печки в школе иногда топят слишком жарко, а иногда вовсе не топят. Каждый ученик обязан ежедневно приносить в школу дрова — по два полена. Порядок этот в общем-то соблюдается. Но иногда и нарушается. Скажем, ученик в какой-то день в школу не пришел, следовательно, и в печке сгорает на пару поленьев меньше. Если же не пришли десять учеников, то в классе все дрожат от холода...

Исмаил-эфенди окончил Зынджырлы-медресе. Он преподает теперь кроме родного языка, математики, географии еще и законы религии. А в старших классах учат детей читать Аптейик, Коран. Почерк у Исмаила-эфенди очень красивый, в Зынджырлы-медресе

преподаванию каллиграфии и чистописания уделялось серьезное внимание, от сохт требовалось безукоризненное четкое письмо...

Слушая Абдурешид-оджу, я легонько коснулся его сухощавой со множеством морщин руки, извинился, что перебиваю, и спросил:

— Была ли уже Советская власть в деревне? Ведь она запретила в школе даже упоминать о боге...

— Советская власть?.. Да, была, — ответил учитель, помолчав минуту-другую. Деревня была занята Красной Армией, за общественным порядком следили молодые люди с винтовками в руках. Эти люди, я полагаю, и представляли Советскую власть... Советы пришли в Махульдур всего две-три недели назад. За этот срок разве можно было отвратить людей от религии, которую исповедовали уже много сотен лет? Для этого требовалось время и не одно поколение учителей. Ученики третьего и четвертого классов в школе учились не только грамоте, но и совершать намаз, читать дуа¹, эзан². А для претворения в жизнь того, чему научились в школе, один из учеников каждый день чуть свет отправлялся в Джума-Джами, взбирался на высокий остроконечный минарет и читал оттуда эзан, голос его разносился над всем селением, уносился в ущелье, к горам, и они повторяли его слова многократно... Старшие ученики по пятницам творили вместе с населением намаз, ходили ночью на терави³ во время оразы. Всего несколько дней минуло, как пришла новая власть. За такой срок увидеть плоды перемен, принесенных новой властью, в деревне трудно. Да и деревенские люди еще имели смутное представление, что это за власть, а пока что относились к ней настороженно. К тому же родители многих учеников не хотели мириться с безбожием...

...После уроков, перед тем как уйти домой, я решил заглянуть в учительскую. Исмаила-муаллима там не было. Ягъя-эфенди и Сафиеханум сидели рядышком и весело разговаривали. Я замешкался, испытывая неловкость.

— Заходите, Абдурешид-эфенди, прошу вас! — сказал Ягъя эфенди, подбрасывая в железную печку дрова.

¹ Дуа — молитва, которой благословляется начало того или иного дела.

² Эзан — утренний призыв к молитве.

³ Терави — ночное пиршество.

— Я хотел видеть Исмаила-эфенди, — сказал я.

— Он ушел, — ответил Ягъя-оджа. — Проходите, садитесь! Работа окончена, можно спокойно поговорить. Кстати, зачем вам Исмаил-муаллим?

— Хотел посоветоваться относительно порядка дальнейшей работы.

— Порядок обычный: придете завтра в школу в то же самое время, что и сегодня. Продолжите ту работу, которую начали сегодня. И так каждый день. Кроме пятницы — дня отдыха! Сафие-ханум... — он указал на учительницу, — ...это подтвердит.

Приложив правую руку к груди, я поклонился ей.

Сафие-ханум улыбнулась:

«Приглашаем вас сегодня, прямо сейчас, к нам на фильджан кофе! Мы живем тут рядом».

«Да, да! — подхватил Ягъя-эфенди. — Вы еще никого в деревне не знаете, а мы тут живем уже три года...»

Разумеется, я согласился. Ягъя-эфенди и Сафие-ханум встали, положили классные журналы, которые просматривали, держа на коленках, в шкаф. Я тоже оставил журнал, и мы вышли из учительской. Длинный коридор, классы были пусты. Ягъя-оджа навесил на входную дверь замок, положил ключ в карман. У школьной уборщицы был свой ключ. Мы пересекли двор, но направились не в сторону калитки, через которую я сегодня вошел сюда, а двинулись в глубь двора, через небольшой пролом в изгороди проникли в соседний двор и вскоре оказались перед двухэтажным домом с застекленной верандой. Чуть в стороне за голыми, почерневшими от стужи деревьями виднелись табачный сарай и сушилки. А за ними, до самого леса, которым был покрыт горный склон, тянулись чаиры.

Мы поднялись на широкую светлую веранду, прошли в комнату. Ягъя-оджа усадил меня на миндер, сам опустился рядом, решив занять меня беседой, пока жена отлучилась на кухню.

В большой нише на сундуке сложена постель, ватные одеяла, подушки. Пол застлан войлоком. Чувствуется аромат сушеного табака, которым тут, наверное, пропитаны все щели.

«Дом не наш, — сказал Ягъя-оджа. — Он принадлежит Абдулле-ага. Мы занимаем только эту комнату. Хозяин — чудесный человек,

добродушный, тихий, прославленный табаковод. Зато жена его Эдаие — гром и молния. В деревне еще не началась перепись желающих стать коммунистом. Как только начнется, она, безусловно, первой коммунисткой станет, наша Эдаие-апте. Сыновья их учатся в школе».

Вошла Сафие-ханум, постелила перед нами скатерку и вышла. Спустя несколько минут появилась женщина лет сорока в старомодном турецком платье с подносом в руках, поставила поднос на скатерку. На подносе два фильджана кофе, в блюде мелкие кусочки сахара.

«С приездом вас, муаллим-эфенди! — произнесла женщина, обращаясь ко мне. — О том, что к нам пожаловал новый учитель, я узнала от наших детей. Дай бог вам здоровья! Новой власти должны служить новые учителя. Прошу вас, пейте кофе!»

«Это и есть наша Эдаие-апте, — многозначительно улыбаясь, сказал Ягья-эфенди, когда хозяйка вышла. — Фельдфебель населения этого дома».

Что ж, Эдаие-апте, наверное, властная женщина. Но такие и трудятся не покладая рук. Придет весна, и я, бог даст, увижу, как Эдаие-апте сажает в чаире табачную рассаду, затем буду свидетелем того, как она ломает табачные листья, как в сарае нанизывает их на темень¹, а зимою делает демет².

Абдуллы-ага, видно, не было дома, а не то зашел бы, выпил бы с нами чашечку кофе.

Сафие-ханум была занята хлопотами на кухне. Мы просили Эдаие-апте посидеть с нами, в обществе мужчин, поговорить, но она сказала, что посидела бы, да не может: внизу, в подвале, муж вяжет тай³, и она должна ему помочь.

Мы остались с Ягьей-эфенди одни, пили кофе и тихо беседовали. Ягья-эфенди и Сафие-ханум — муж и жена... Имена у них и язык — татарские. Язык — татарский, а фамилия — не татарская.

Если учесть, что фамилия передается по наследству от предков, то они скорее всего потомки каких-нибудь западных европейцев,

¹ Темень — плоский тонкий стержень с ушком на конце; на темень нанизывают табачные листья, а затем сдвигают их по шпагату на сырык — сосновую палку длиной метров пять-шесть — для просушки.

² Демет — связка высушенных листьев.

³ Тай — тюк, упаковка деметов.

принявших все традиции, язык коренного населения Крыма, одним словом, отатарившихся.

Ягья-эфенди, неторопливо отхлебывая кофе, с интересом поглядывал на меня и, словно прочтя мои мысли, сказал:

— Мы — польские татары, — и улыбнулся: — Слыхали о таких? Лехистан татарлары!

— Слыхал... конечно, — ответил я. — В Бахчисарае сосед наш, Мустафа Александрович, польский татарин. Я вырос вместе с его сыном...

— Предки наши — крымские татары, — продолжал Ягья-эфенди. — В свое время они отправились в поход под командованием Тугай-бея против войск Потоцкого и попали в плен к полякам... Так они и остались в Польше...

— Это было в 1648 году, когда крымский хан послал Тугай-бея на помощь Богдану Хмельницкому? — решил уточнить я.

— Да, — кивнул Ягья-эфенди, довольный моей осведомленностью, и спросил: — Где вы учились?

— В Дарлмуаллиминe. Но не окончил... — сказал я с грустью и вздохнул.

Брови его приподнялись над переносицей, на лбу образовались морщинки треугольником, он словно хотел сказать: «Что же вы так?..» — но ничего не сказал.

Байрашевский был интересным собеседником, все более располагал к себе. Он был сухощав, спортивного телосложения. Костюм на нем сидел, словно влитой. Лицо скуластое, монголоидное. А Сафиеханум более похожа на нашу южнобережскую. Голос у нее приятный. Разговор напоминает птичью песню. В деревне, улицы которой в камнях и рывинах, она ходит на высоких каблуках, крайне удивляет население... Каким образом они попали в это скалистое ущелье, где обитают дикие козы, олени? Что за усадлу для души нашли они у подножья этих высоких гор, вершины которых то ли покрыты снегом, то ли окутаны туманом? Неужто в больших красивых городах для этих высокообразованных людей, мужа и жены, не нашлось бы более достойной работы? Вежливо ли будет с моей стороны спросить их об этом?

— Вас послал сюда Ягья Наджи, не так ли? — спросил меня Байрашевский.

— Да, — кивнул я. — А вы, Ягья-эфенди? Извините меня... как оказались здесь?

Байрашевский улыбнулся, отвел глаза. Мне показалось, что он давно ждал этого вопроса. Если бы я не поинтересовался, он, быть может, обиделся бы. Это я, не закончивший образования йигит, считаю для себя делом высокой чести то, что я неожиданно стал учителем, а Байрашевский — это совсем другое дело, приезд в это село вряд ли вызвал у него столь же бурный восторг...

— Приехал я сюда по приказу отделения народного образования Ялтинского земского управления, — сказал Ягья-оджа. — Почти три года назад...

— В период Врангеля вы были здесь?

— Да.

— Вас не тронули?

— Нет, не тронули, — сказал Ягья-оджа и добавил: — Но в любую минуту могли тронуть.

Я вопросительно посмотрел на него. И он продолжал:

«Я офицер. Служил в белой гвардии... Дезертировал, скрывался в окрестностях Феодосии. Но в Феодосийском уезде меня все знают: до войны я преподавал в деревне Сараймен. Я обратился к знакомому, служившему в Ялтинском земском управлении, он и засунул меня в эту дыру. «Там, в дремучем лесу, никто тебя не найдет», — сказал он. Жили мы здесь с Сафие-ханум тихо, с оглядкой. Белогвардейцы пришли, а затем ушли, немцы пришли и ушли. Меня долго разыскивало правительство генерала Сулеймана Сулькевича, кстати, тоже польского татарина, не нашли. Здесь, в этой деревне, люди незаметные, но совестливые, честные. Чтобы среди них кто-то обманул или предал другого... такого нет, это совершенно исключено... Война наконец окончилась. Пришла Советская власть. Мне прятаться больше не от кого!»

— В таком случае, я полагаю, вы долго в этой деревне не задержитесь?

— Это почему же? — спросил он с удивлением.

— Деревня эта маленькая... Вы и Сафие-ханум смогли бы преподавать в высших учебных заведениях. Тут, в Махульдуре, вы не можете реализовать своих возможностей...

В комнату вошла Сафие-ханум. Взяв поднос и опустевшие фильджаны, вышла и вскоре вновь появилась с двумя тарелками супа из фасоли и лапши, поставила их на скатерть. Фасоль была коричневого цвета, от нее потемнели бульон и лапша. Сверху не видно ни капельки жира.

«Прошу вас разделить с нами учительский ужин! — сказала Сафие-ханум, приветливо и как-то загадочно улыбаясь. — Это нам приносят из дома Мемед-Али-бея!»

«Учительский ужин!»! Стало быть, такой же будет еда, которую мне станут приносить из дома Ислам-бея. Может быть, уже принесли...

— И как часто вас потчуют этой... учительской едой? — спросил я у Ягья-эфенди.

— Дважды в день, в обед и ужин. Иногда один раз... А иногда и вовсе ничего. Эту шорбу варят в большом котле для батраков Мемеда-Али, — сказал Ягья-оджа, помешивая деревянной ложкой в чанаке, чтобы суп остыл; в коричневом бульоне всплыли и исчезли куски мяса, картошки. — Пожалуйста, Абдурешид-эфенди! Шорба неплохая, есть можно.

Прибыв в эту деревню, я впервые находился в гостях. За разговором я не заметил, что засиделся. Сафие-ханум зажгла лампу. После ужина мы попили чай. Хозяева поинтересовались, каково мое впечатление после первых уроков. Я высказал мнение, что уровень знаний учеников второго класса мог бы быть гораздо выше. По выражению лица Сафие-ханум я понял, что она со мной согласна, однако вслух этого не сказала. Ягья-эфенди тоже промолчал. Они, видно, осмотрительны в своих суждениях. Жизнь в этой горной деревушке их многому научила.

Заметив в окно, что над горами уже взошла луна, я решил откланяться.

«Если вам понадобится помощь, то не стесняйтесь, обращайтесь к нам! — сказал Ягья-оджа, крепко пожимая мою руку, когда мы вышли на веранду. — Всегда будем рады вам помочь».

Земля подмерзла, лужи затянулись ледком, хрустели под ногами, голубоватый лунный свет стекал с вершин в темные ущелья, провалы между гор; ярко мерцая, извиваясь, подобно серебристой змее, речка убегала в сторону Бельбека. Заслышав мои шаги, во дворах взлаивали собаки. Спросонок хрипло вскрикивали петухи, спутавшие лунную ночь с утром. Свет в окнах домов погашен. Со стороны причудливо сгрудившихся каменных глыб Бойки доносятся протяжные таинственные звуки. Это поют скалы...

Саабе-апте уже спала. Дверь была заперта. Я удивился: не помню такого, чтобы в деревне днем ли, ночью ли запирали дверь. Я тихо постучал. В прихожей послышался шорох, но дверь долго не открывалась. Саабе-апте сначала подошла к окну, чтобы посмотреть, кто стучит, и, лишь узнав при лунном свете меня, вернулась в прихожую и открыла дверь. Несколько лет войны, видно, и сельских жителей кое-чему научили.

«Вы спали, Саабе-апте? — спросил я хозяйку виноватым тоном. — Я немного задержался, извините! Еще не освоил правил...»

«Правила везде одинаковы, и в городе, и в деревне! — перебила она меня, в голосе ее явно звучало раздражение. — Когда на землю опускаются сумерки, все люди возвращаются домой. И не только люди... звери, птицы. — Она приподняла фитиль в лампе, висящей на стене в прихожей. — Еще и спрашиваете, спала ли я! Могу ли я уснуть, если... Один является и колотит в дверь, деникинский ошметок, винтовку наставляет тебе в грудь — курицу давай! Другой приходит, размахивая плетеным кнутом, махновский головорез, — давай корову!.. И вот так все три года... Вроде бы пришла Советская власть, а покоя от лесных бандитов все еще нет. В такую ночь разве заснешь? Если до утра никто тебя не побеспокоит, и то благодаря Аллаха! — Она поправила, подтянула кверху сползший с плеч пуховый платок, прикрыла шею: «Если опять придете поздно ночью, в дверь не стучите. Постучите в окно, я буду знать, что это вы!»

Саабе-апте права, время беспокойное. Надо быть осмотрительной. Я прошел в комнату, предназначенную для меня. В ней было темно. Я сделал еще шаг, другой, нога ступила на что-то мягкое. Кажется, это была постель. Я разделся, положил одежду рядом на пол и лег.

«Днем приходил человек, приглашал вас в дом Ислам-бея, — сказала Саабе, приближаясь к порогу моей комнаты. — Когда учитель придет, я ему скажу, пообещала я...»

«Благодарю вас, Саабе-апте!» — сказал я.

Она тихо закрыла дверь. И словно отторгла меня от всего мира...

Утром, открыв глаза, я заметил, что дверь моей комнаты открыта. Пешкира, войлока, миндеров, что вчера были постелены вдоль стен, занавесок на окнах — ничего в комнате нет. Оставлены только постель, одеяло и подушка. Еще вчера, вступив в темноту в комнату, я заметил, что в ней что-то не так.

Я не спеша оделся, размышляя, в чем же я провинился перед хозяйкой, что попал в такую немилость?

Вышел в прихожую, во двор, Саабе-апте нигде не было. Вернулся в дом, хотел приготовить себе чай — огонь в очаге потух. Поискал спички — не нашел. Все спрятано, заперто. Как это понимать? Неужели я буду жить в пустой комнате?

Я вконец раздосадованный, решил пойти в школу, когда со двора донесся голос:

«Саабе-апте!.. Э, Саабе-апте!»

Я вышел. На каменных ступенях веранды стояла девушка в длинном платье. Правда, она была укутана в большой шерстяной платок, даже лица не было видно, только глаза. Голос ясный, чистый. В руках узелок.

— Саабе-апте дома нет! — сказал я.

— А вы Абдурешид-оджа?

— Да, он самый!

— Я принесла вам завтрак из дома Ислам-бея! Я пригласил девушку зайти. Она перешагнула порог, всучила мне узел и отступила, не сводя с меня больших пугливых глаз.

— За посудой я приду потом, — сказала она. — Риза-ага сказал, чтобы обедать вы пришли к нам...

Риза — младший сын Ислам-бея.

Блестящие глаза девушки, ее слегка дрожащий голос и меня самого приводил в волнение, я забыл ей ответить.

— Вы меня поняли, Абдурешид-оджа? — спросила девушка и улыбнулась. — Я и вчера приходила за вами, а вас дома не было...

— Вчера я был в гостях, пришел поздно, — стал почему-то оправдываться я перед девушкой и тоже улыбнулся. — А как вас зовут?

— Меня? Марией!

Она сбегала по ступеням веранды и, пригибаясь немного вперед, преодолевая порывы ветра, зашагала в сторону калитки. Я вернулся в комнату, положил узелок на пол и развернул. В большом чанаке были пельмени. Видать, приготовлены вчера, а сегодня подогреты. В высоком горшочке катык, в кулке около фунта очищенного грецкого ореха, полбуханки пшеничного хлеба. Пожалуй, совсем неплохо. Я обрадовался. Жить можно. И тут же я сказал самому себе, переходя из комнаты в комнату в поисках ложек: «Однако вы, Абдурешид-оджа, не торопитесь с выводами! Это еще только первый день вашего учительствования! Первый завтрак, принесенный вам из дома Исламбея. Пусть пройдет немного времени, а там поглядим!» Все шкафы были заперты, даже софру я не нашел.

Мне уже было пора поспешить в школу. Я поставил миску на подоконник. Пока искал ложку, пельмени остыли, слиплись. Пришлось есть, отделяя их друг от друга. Половина осталась в чанаке. Я завязал узел, поставил его в уголок и отправился в школу. В том месте, где дорога сворачивает к ущелью, я встретился с Исмаилом-эфенди. Высокий, статный, на голове каракулевая шапка. Он живет тут в большом, хотя и одноэтажном доме, что возле самого водопада в ореховой роще. Прежде там была школа. А когда школу перевели в другое помещение, в этом доме поселился Исмаил-эфенди.

Мы направились к школе вместе. Он впереди, я позади. Идти рядом с ним мне не положено. Он заведующий школой, имам деревни, а же всего-навсего простой учитель, да и то учил детей один день.

— Ну, как устроились? — поинтересовался Исмаил-муаллим, однако не изменил ритма своих шагов, не обернулся в мою сторону. — Едой довольны?

— Вроде бы ничего, — сказал я. — Но одно обстоятельство мне непонятно. Вчера комната, которую мне отвели, была в нормальном виде, а вечером, придя домой, я обнаружил комнату совершенно голой, пустой. Только постель на полу, больше ничего... Саабе-апте все из комнаты вынесла. В чем причина, не понимаю!

— А что говорит сама хозяйка?

— Я ее сегодня еще не видел. Поднялась рано и куда-то исчезла. Муаллим, хоть и не оборачивался, внимательно выслушал.
«Я поговорю...» — пообещал он.

Так, разговаривая, мы и пришли в школу. Едва заведующий ступил ногой в коридор, дежурный по школе схватил звонок и позвонил. Я взял в учительской журнал, пошел на урок.

Я несу ответственность не только за грамоту, но и за нравственное и физическое воспитание учеников первого и второго классов. Я приехал в эту деревню не потому, что мне это велел Ягья Наджи, а потому, что у меня у самого есть свои планы и желания, связанные с Советской властью. Быть может, взгляды мои еще не совсем сформировались, не совсем окрепли. Но это — взгляды. Я связываю с новой властью много надежд. Учеников своих я должен воспитать тоже в духе нового времени. Иначе стоило бы мне сюда приезжать?..

Занятия в первом классе направлены в основном на то, чтобы освоить букварь, научить детей читать и писать.

Я велел ученикам вынуть из сумок тетради и положить их, раскрыв перед собой, а сам расчертил доску еле приметными горизонтальными линиями и справа налево стал писать арабскими буквами; «А-на, ба-ба. Ана, баба. Ана Ер¹». После этого велел ученикам переписать эти слова в тетрадки, точь-в-точь как на доске. Предупредил их, что писать следует так, чтобы буквы не выходили за линии. Буквы должны укладываться между линиями и не иметь уклона ни вправо, ни влево. Вчера я видел, как ученики писали буквы мелом на доске, сегодня хочу посмотреть, как они пишут в тетрадях перьями. «А-на, ба-ба. Ана, баба. Ана Ер...» Слова эти они должны писать много раз, пока не заполнят всю страницу.

В классе возник шум. Дети стали возиться, стучали, скрипели парты. Один искал свою тетрадь, другой ручку, третий и то и другое. Я стоял у доски и ждал. Наконец все успокоились и начали списывать с доски.

Я прислонился спиной к теплой голландской печке и наблюдал за тем, как они выполняли мое задание. Каждый по-своему проявлял усердие. Кто-то наклонял голову и так и эдак, другой выпячивал челюсть то влево, то вправо, высовывал язык; беспрерывно, со стуком

¹ Ана, баба, Ана Ер — мама, папа, Родина.

макали перья в чернильницы, нередко мимо; у некоторых учеников лица становились пунцовыми, другие бледнели, на лбу у многих проступали бисеринки пота...

Я вспомнил время, когда сам учился в первом классе. Было это не так уж и давно. Я делал то же самое. Первоклашки беспомощны и смешны...

Пока первый класс списывал с доски, со вторым классом я проводил чтение. Учебника у нас не было. Утром Исмаил-эфенди вручил мне рукописную книгу для чтения, оставшуюся от Лемана-эфенди после его смерти. Книгу эту написал Усеин Токтаргазы. Он, писатель-гуманист и уважаемый народом учитель, вложил в основу книги мысли высокой морали. Мы совместными усилиями прочли в ней несколько коротеньких рассказов, написанных специально для ребятшек младшего возраста.

Вскоре прозвенел звонок. Я вышел из класса в приподнятом настроении.

Всего три недели, как сюда пришла Советская власть. За это время особых изменений в жизни населения деревни не замечалось. Бей остались бейми, батраки батраками. Неграмотный крестьянин обращается к грамотному человеку, низко кланяясь и называя его «эфенди». Табачные плантации, виноградники, парниковые хозяйства, фруктовые сады принадлежат старым владельцам. И в школе по-прежнему все делается по указке Мемеда-Али. Учебными делами ведает Ялтинское земское управление. Учителя Ягья-эфенди и Сафиеханум за три года работы в этой деревне ни разу не получили зарплаты ни от старой, ни от новой власти — живут тем, что присылают им из кухни Мемеда-Али, и за то благодарят бога. Как будут складываться мои дела в дальнейшем? Никто сказать этого не может.

Сегодня я узнал о том, что Исмаил-эфенди, оказывается, родом из деревни Янджу. После окончания Зынджырлы-медресе в Бахчисарае был послан в Махульдур в качестве муллы и учителя школы. Тому минуло уже немало лет. Здесь он женился, стал отцом двух сыновей и двух дочерей. Население привыкло к нему, считает его местным, своим человеком. Они выделяют пай из всего богатства, какое только в деревне имеется. Он обеспечен всем, в помощи земского управления не нуждается. Сколько бы власти ни менялись, пока в деревне имеется

школа и мечеть, Исмаил-эфенди и его семья нужды знать не будут. Однако долго ли будет в деревне существовать мечеть?

У учителя, желающего научить детей уму-разуму, забот хватает. Однако по какому методу вести уроки — по новому или старому? Во многих школах, как мне известно, уроки ведутся по методу «Усули Джедид», разработанному Исмаилом Гаспринским. Раньше ученик учился в школе пять лет, но по окончании умел только читать Коран на арабском языке, да и то не понимая смысла. Его посылали муллой в деревню... По новому же методу ученик кончает обучение религии за два года. У него остается три года на овладение другими науками.

По методу Гаспринского, учитель должен иметь в классе тридцать учеников, не более. При этом дети восьми и девяти лет не должны учиться беспрерывно в течение семи-восьми часов, как было ранее. Им рекомендуется с утра до обеденного времени учиться три часа, а после обеденного намаза — еще два часа. Всего в день должно быть не более пяти уроков. После каждого урока обязателен перерыв по десять минут... Бить, ругать ученика нельзя. Воспитывать предлагалось не палкой или розгами, как было принято в старых религиозных школах, а спокойными словами, убеждением. Для физически и умственно нормального ребенка такой метод вполне эффективен и не противоречит правилам педагогики...

Гаспринский написал учебники по математике, грамматике, родному языку, учебник по географии с картой земного шара, издал книгу «Хаваджеи субъян» с прекрасными иллюстрациями природы, животных, людей. Книги эти сразу вызвали огромный интерес у учителей и учеников. До этого иллюстрированных книг на языке мусульман в России никогда не было...

Закончив дообеденные занятия, я зашел в учительскую, чтобы положить классный журнал в шкаф. Сафие-ханум находилась там одна и что-то писала.

— А где Исмаил-муаллим? — спросил я.

— В мечети... Проводит полуденный намаз! — ответила она.

— И Ягъя-оджи с утра что-то не видно.

— Пошел куда-то по важному делу...

Я распрощался и ушел. Однако направился не в дом Саабе-апте, а в дом Ислам-бея, да по пути вспомнил, что все-таки стоит зайти домой, сменить рубашку, а то та, что на мне, не первой свежести.

Зайдя в комнату, вновь был поражен: комната, которая была утром совершенно пустой, когда я уходил в школу, теперь в убранстве, как в первый день моего посещения. Хотелось бы узнать причины этих разительных перемен, но времени для этого нет, надо поспешить, чтобы не опоздать к обеду в дом Ислам-бея и не прослыть невежей. Быстро сменив рубашку, я тихонько вышел. Но во дворе меня остановила Саабе-апте.

— Что, уходите, Абдурешид-эфенди? — услышал я ее голос и обернулся.

— Да, меня пригласил к себе Риза-ага, нельзя не пойти, это им покажется обидным...

— Я виновата перед вами! Вчера я вынесла все убранство из вашей комнаты, а сегодня опять все возвратила на место, сделала, как было раньше. Вы, наверное, подумали, что я выжила из ума?

Я пожал плечами, отведя глаза: «Дом ваш. Имеете право делать в нем все, что считаете нужным... Но дело в том, что позавчера вы заверяли нас: «Вот комната, которую предоставляю учителю, такая, какая есть!» А потом взяли да оголили ее. До сих пор для меня загадка, почему вы так поступили...»

«Мне сказали, что вы большевик, — ответила, замявшись, женщина. — Я не согласна на то, чтобы в моем доме проживал безбожник. А сегодня сюда приходил Исмаил-эфенди, поговорили с ним, и мне все стало ясно. Простите мой грех, перед вами я виновата. Больше ничего трогать не буду. Живите в ней столько, сколько будет существовать этот сумасшедший мир...»

Я не нашелся, что ответить, лишь улыбнулся. Саабе-апте тоже просветлела лицом. На душе у меня стало легко, словно упал с нее камень. Я вышел на улицу. Погода была ясная, небо чистое, воздух прозрачный — видно далеко-далеко. Южная оконечность деревни примыкает к высокой горе, по склонам которой разбросаны скалы. На севере, в долине, виднеются чаиры, виноградники, сады. Из ущелья вытекает река, и плавные извивы ее пролегают через всю плодородную, чарующую своей красотой Сьюренскую долину. Если

идти часа три по узкой лесной тропинке в сторону деревни Озенбаш, расположенной у истоков этой реки, можно через высокий перевал спуститься к Ялте.

Улочки в деревне кривые, где шире, где уже, подъемы, спуски. На одном из поворотов рядом с дорогой из-под земли бьет ключ, вода разливается, бежит в несколько ручьев под уклон. В конюшнях с плетеными из прутьев и мазанными глиной стенами стоят лошади, едят, похрумкивая, малат¹... Возле сараев кучи коровьего навоза, от них поднимается пар. Из Нижнего маалле доносится лай собак. Сверху, с высокой горы, крестьянин везет, придерживая с трудом лошадь, длинные стволы деревьев на санях. Арбы в тех местах не пройдут ни летом, ни зимой. По дороге, огибающей горы с южной стороны, где снега почти нет, возвращаются в деревню коровы из леса, где они паслись с утра. С открытой веранды, едва виднеющейся за фруктовыми деревьями, раздался крик женщины:

«Тензиле!.. Акыз, Тензиле, говорю!.. Где ты запропастилась? Сбегай к Чоракчыклар², принеси гугюм воды! Да поскорее!»

От хором бея Мемеда-Али отъехала нагруженная сеном пара-конка. Сверху на сене сидит йигит в каракулевой шапке, подергивает вожжами, поет старинную песню:

Брови твои черные, моя канарейка,
Глаза твои карие, моя канарейка,
Губы твои — коралл, моя канарейка.
И глаза твои, и брови, и губы — горе на мою голову...
Как отделить мне горе от счастья?

Деревня как деревня, живет своей обычной жизнью по установленным исстари порядкам. Маленькая деревня, но природа создала ее людей здоровыми, смелыми.

Я не заметил, как приблизился со стороны фонтана к высоким воротам солидного дома, в котором меня ждет Риза-ага. Открыл калитку, вступил во двор. Две огромные собаки, вознамерившись меня разодрать, припустились ко мне. Из дома выскочила служанка, прикрикнула на них, и они послушно остановились, однако не вернулись на место, подошли ко мне, и, пока они меня обнюхивали, я

¹ Малат — корм из сушеного сена или соломы, смешанных с мочеными отрубями.

² Чоракчыклар — Родники.

сказал служанке, что я новый учитель и приглашен Ризой-эфенди. Она исчезла в доме и вскоре появилась с хозяином, младшим сыном Ислам-бея, который любезно пригласил меня зайти в дом. Миновав просторный светлый европейского типа коридор, проследовав мимо множества открытых и закрытых дверей, мы вошли в гостиную. Риза, оказывается, молодой йигит, примерно того же возраста, что и я. Лицо у него мужественное, волосы вьющиеся. На нем белая рубашка, распахнутая на груди, и синие галифе на подтяжках; на ногах шерстяные носки, похоже, он только что снял сапоги, которые стояли около входной двери. Пышный чуб нависает у Ризы над левой бровью, это придает ему лихой вид, говорят, что он любит, заломив набекрень шапку и выставив чуб, прогуливаться по деревне.

«Очень рад, что мы с вами встретились! — приговаривает Риза, сопровождая меня. — Отец мой давненько дружит с Ягьей Наджи Байбуртлы. Когда он бывает в Бахчисарае, не уезжает оттуда, пока не посетит муаллима. А я хорошо знаю вашего старшего брата Ариф-Мемета. Уверен, что и вы со временем станете одним из уважаемых людей, которым всегда рады в нашем доме».

«Благодарю вас, — сказал я, отвесив поклон Ризе-эфенди. — Я слышал от Ариф-Мемета-ага много лестного о вашем отце Ислам-бее. Буду стараться изо всех сил, чтобы ваши младшие братья и сестры, обучающиеся в нашей школе, получили как можно больше знаний».

Мне было предложено сесть на миндер. Риза уселся напротив, подвинул мне пару подушек, одну подложил себе под локоть. Он с восторгом рассказывал мне о приключениях, которые с ним произошли третьего дня в лесу во время охоты на зайца.

Служанка поставила перед нами софру, подала еду. Мне показалось, что Риза был довольно голоден, видно, ждал меня, чтобы вместе поесть. И, памятуя, что я приехал из города, велел приготовить деревенские блюда — этли пляв¹, отварные бараньи головы и ножки. А также на софре были выставлены соленные баклажаны, начиненные морковью, чесноком, укропом, мятой, в кувшинах соки разных плодов. Потом мы приступили к чаепитию с земляничным вареньем. Беседа наша не затухала ни на минуту. У Ризы, как у сыновей многих состоятельных людей в деревне, обнаружилась тяга к сочинительству

¹ Этли пляв — мясной плов.

стихов, к тому же он играл на разных музыкальных инструментах. Он принес из соседней кометы скрипку, долго настраивал ее и сыграл свадебную танцевальную мелодию. Потом прочитал из джонки² несколько своих стихотворений. Они были довольно интересные, призывающие людей быть благородными, добрыми, тянуться душой к просвещению. Судя по толщине джонки, стихов у Ризы было много. Кто научил его писать стихи, кто заронил в сердце его то драгоценное зерно, которое дало росток, называемый поэзией? Из последующего разговора я узнал, что он учился, оказывается, некоторое время в Дарлмуаллиме в деревне Фотисала, что находится километрах в шестнадцати от Махульдура. Некоторые из стихотворений я посоветовал Ризе послать Ягье Наджи-эфенди: быть может, он предложит в какой-нибудь журнал или газету.

Затем Риза сыграл на кларнете несколько народных мелодии. Кларнет поменял на трубу... На всех этих инструментах он играл не как-нибудь, а довольно искусно. Меня это крайне удивило и восхитило. Молодой йигит живет в маленькой деревне, что затерялась среди гор и скал, забыта богом и людьми, кто его учил? Ведь несколько месяцев учебы в Дарлмуаллиме никак не могли оказать столь благотворного влияния? Я высказал эти мысли вслух, на что Риза, посмеиваясь, ответил: мол, на музыкальных инструментах умеет играть не один он, а почти все мужчины в деревне. Если кто-либо готовится женить сына или выдать замуж дочь, он бежит, суетится, хлопочет, чтобы свадьба прошла хорошо, но, что касается музыкантов, никто никогда не переживает. Если таковых нет в своем доме, то в соседнем непременно найдутся.

Так мы и сидели в гостиной, ведя между собой разговор. В доме, кроме меня, оказывается, были еще гости, но те сидели в других комнатах, к нам не заходили, чтобы не мешать беседе.

Риза предложил выйти на балкон. Отсюда открывался вид на окрестности деревни. Он показал мне, вытянув руку, табачные плантации, длинные приземистые сараи, где просушивают табак, а потом упаковывают. Все это принадлежало им. Однако на землю уже

² Джонка — тетрадь, в которую записывают понравившиеся стихи разных авторов, тексты песен, а также собственные сочинения.

опустились сумерки; земельные участки, поделенные на квадраты, и строения начинали сливаться, постепенно исчезать в серой мгле.

Я сегодня тоже пришел домой поздно, как и вчера. Сам постелил себе, лег. Долго не мог заснуть. Все думал о Ризе, о богатой обстановке в их доме. Затем вспомнил о Марии... девушке, которая утром принесла мне пельмени. Почему я вспомнил о ней, и сам не знаю. Во всяком случае, когда я был днем в гостях, то невольно поглядывал вдоль коридоров и в окно, надеясь, что ее увижу, но не увидел...

Утром хозяйка, вдруг усомнившись, опять спросила, уж не большевик ли я в самом деле, что шатаюсь где-то поздно по ночам.

— Ну и что? — вспыхнул я. — Если бы я и был большевиком, съел бы вас? В вашем доме, говорят, жил врангелевский офицер! Чешский капрал ночевал!

— Нет! Нет! — вскрикнула Саабе-апте. — Порог моего дома не перешагивал ни врангелевский офицер, ни чешский капрал! Тут жили два немца... Всего одну неделю. Мерзавцы! У меня оставалась единственная корова, и ее увели! Да покарает их Аллах!

— Им вы не выговаривали! И ничего в своем доме от них не прятали. Не так ли? — напустив на себя грозный вид и еле сдерживая смех, спросил я Саабе-апте. — Я приехал сюда для того, чтобы учить детей вашей деревни. Вы же ковры, миндеры, настенные подушки пожалели для меня. А два немца в своих тяжелых ботинках, намазанных дегтем, ступали прямо по вашим миндерам. Вот они, следы их ботинок, еще не сошедшие. Я же, перед тем как войти в дом, туфли свои снимаю на террасе.

— Простите меня! — сказала дрожащим голосом хозяйка. — Говорили, что большевики неверующие, безбожники, ножом закалывают своих отца и мать, пьют их кровь! Я испугалась...

— Испугались? Меня? — спросил я. — И не стыдно вам?

Саабе-апте стала заикаться, губы дрожали, она не знала, что ответить мне. Однако мне пора было идти в школу. Я прекратил этот разговор и вышел из дому.

Я шел быстро, направляясь в Верхнее маалле. На фонтанной площади за мной увязались трое каких-то мужчин. На одном длинный ватный камзол. На голове коричневая каракулевая шапка, на ногах офицерские сапоги. Из-под полы торчит конец ствола маузера. Двое

других в простой красноармейской форме, на них серые шинели с глубокими разрезами сзади. На плечах карабины, на поясах сабли.

— Нам нужен Байрашевский, — сказал по-татарски мужчина в каракулевой шапке. — Где его дом?

— На той стороне ущелья, — ответил я. — Идемте, я покажу.

Неизвестные двинулись за мной. Мы прошли мимо соборной мечети. Стали спускаться к реке.

— А сами вы кто? — спросил человек в шапке.

— Учитель, — ответил я.

Он недоверчиво оглядел меня.

— Сколько же вам лет?

Я только открыл рот, чтобы ответить, как из калитки своего дома вышел Исмаил-эфенди. Я приостановился, поздоровался с муаллимом и тут же объяснил людям, как пройти к интересующему их дому. Они прошагали дальше, и, когда совсем исчезли за поворотом, Исмаил-эфенди спросил: «Кто эти люди?»

— Понятия не имею, — ответил я. — Ищут Ягья-оджа!

Мы медленно направлялись в сторону школы. Исмаил-эфенди приостановился, уставился на меня, о чем-то лихорадочно думая, потом снова зашагал. Я только теперь удивился и задался вопросом: «Зачем им понадобился Ягья-оджа?» — и, забеспокоившись, стал оглядываться.

В учительской сидела у печки Сафие-оджапче и грелась. Ягья-эфенди отсутствовал. Исмаил-эфенди снял пальто, повесил на гвоздь на стене. Подошел, опустил на корточки возле печки, только протянул руки к печке, чтобы погреть, зазвенел звонок. Я хотел было сказать Сафие-ханум о неизвестных людях, искавших их дом, но Исмаил-эфенди, глянув на меня, сомкнул на переносице густые брови. «Не надо... — прочел я в его глазах. — Об этом Сафие-ханум, вероятно, знает...» Я потупился. Не стоило соваться в дело, в котором ничего не смыслил. Взяв классный журнал, я быстро вышел.

В тот день Ягья-эфенди в школе так и не появился. Уроки по русскому языку во всех классах проводила сама Сафие-оджапче. Она сегодня была малоразговорчива, хотя внешне оставалась спокойной. Во время большого перерыва я увидел Исмаила-эфенди, который медленно прохаживался по двору школы, низко опустив голову. Он

глубоко задумался и не замечал ни бегающей вокруг детворы, ни их звонких голосов. Меня же донимала тревога от мысли, что появление трех незнакомых мужчин в деревне чревато какими-то неприятностями для Ягьи-эфенди...

Как только я закончил занятия и оказался за пределами школы, мне кое-что стало известно. Среди населения уже распространились слухи: в деревне побывал чрезвычайный представитель Советской власти, который провел совещание в доме старосты Хайбуллы-оглы Якуба. И приглашены были туда сын дульгера¹ Алядина Бари, Мустафа-оглы Сеттар, Назир-оглы Мамут и Ягья-эфенди. О чем там велась речь, никто не знает, поскольку совещание это, говорят, было секретное. Почему «секретное»? Люди пожимают плечами. Тут издревле привыкли к тому, что сосед от соседа ничего не скрывал, все были на виду и знали друг о друге все, что только можно знать. «Если у людей появляются друг от друга секреты, то с этой минуты между ними начинается раздор», — считали жители селения.

Трое неизвестных оставили лошадей в конюшне у Мемиша Асана, а сами на людях не показывались; лишь когда на горы опустились сумерки, их видели переезжающими верхом через поток в ущелье Яман-Гечти, а затем они поехали друг за дружкой по лесной тропинке в сторону Кок-Коза. У того, что ехал впереди, на поясе маузер, на голове коричневая шапка, у красноармейцев за спиной карабины... Кто они? Зачем приезжали? Каждый думал об этом и высказывал свои предположения. А я тогда понял, сколь проницательным был наш Исмаил-эфенди. От него первого я сегодня услышал во время одного из перерывов, когда он, я и Сафие-оджапче оказались втроем в учительской: «Работники, представляющие интересы нового порядка, начинают показываться. Изучают, должно быть, отношение населения к новой власти. Хотят знать, о чем думает эта крохотная горная деревушка с храбрым населением, к чему готовится и вообще готовится ли к чему-нибудь? Не вздумает ли, существуя в глуши тихо, молчаливо, в одно прекрасное время произвести взрыв, настолько сильный, что потом усмирить ее будет ой как трудно! Горцы — народ самолюбивый и гордый. У каждого из них во дворе спрятаны по одной,

¹ Дудьгер — плотник, столяр.

а то и по две винтовки и уйма патронов. Если горец этой деревни вспылит, может человека, оскорбившего его, в один миг убить! Это если горца обидеть! Но обижены ли они сейчас? — спросил Исмаил-эфенди то ли у нас, то ли у самого себя, грея над печкой руки. — Ну, скажем, я на кого обижен? В этом краю сто тридцать четыре года властвовал русский царь. Что хорошего он сделал для народа? Открыл для него мечети и медресе. Для чего? Чтобы при помощи религии, проповедующей покорность, и дубины держать народ в рабстве... А теперь пришла новая власть... Что она собирается сделать для нас? Говорят, мужчины и женщины станут равноправными. Это неплохо, даже хорошо! Но неужели только это? Разве новое правительство не в силах сделать для народа что-либо более существенное? Новая власть будет признавать нашу религию или будет наказывать тех, кто ее проповедует? В таком случае как сохранить наши традиции, порядки шариата, молитвы, намазы, которые мы совершаем пять раз в сутки, все наше духовное достояние? Общество без религии? Сможет ли такое общество существовать? Разве не религия нам помогает отделять человеческое общество от животного мира? Религия хотя и в разных формах, но существует у всех наций. Разного рода власти могут приходить, уходить, меняться... Религия же не приходит, не уходит, не меняется. Однако служит той власти, которая руководит обществом. Разумеется, это зависит от того, какова власть. Предположим, что религия не будет признана государством: кто будет тогда призывать народ к порядку? Правительство? Староста Хайбулла-оглы Якуб? Как, при помощи какого метода? Если не методом принуждения, тогда зачем на поясе у Якуба Хайбулла-оглы висит маузер? А религия не носит на поясе револьвер. Она оказывает влияние на общество при помощи убеждения. А Советская власть? Сможет ли она существовать без религии, без веры? Она, конечно, хорошая, Советская власть. Я ждал прихода ее, быть может, не меньше, чем Якуб Хайбулла-оглы. И могу верно **служить новому строю. Однако без веры, без религии... представить свою жизнь не могу».**

Вечером пошел дождь вперемешку со снегом, быстро стало темнеть. Со стороны Кыр Устю послышался голос онбаши Амета. Теперь Амет является глашатаем, человеком, созывающим население деревни на сход. Поскольку голос его со времени прихода Советской

власти раздается почти каждый день, а иногда и по несколько раз в день, к нему в деревне уже привыкли. Люди, даже находясь в зимнее время в доме с наглухо закрытыми дверями и окнами, едва заслышав его доносящийся издали голос, узнают, что это кричит онбаши, выбегают на веранду, внимательно прислушиваются к выкрикиваемым им словам, которые относит ветер. Амет-онбаши, находясь на возвышенности в самой середине деревни, поворачивается во все стороны, сложив руки рупором, но вокруг лают во дворах собаки, в ущелье шумит водопад, и голос его тонет в посторонних шумах, но главное все знают: сегодня будет сход.

Деревню окутывает зимняя тьма. Мужчины надевают длинные шубы, шапки с длинной овечьей шерстью, на ноги глубокие калоши или чарыки, зажигают керосиновые фонари и, взяв их с собой, направляются к идаре¹. Идут они с удовольствием. Побывать на сходе, услышать какие-либо новости — разве плохо?

Положено ли мне, учителю, бывать на сходах, не знаю. Но я все же пошел. Каково положение у крестьян? О чем они думают? Должен же я это знать! Выходя со двора, я прихватил длинную палку из кизилового дерева. Палка по ночам необходима — главным образом, чтобы обороняться от собак. Но она может, понадобится и для опоры в темноте, ведь дорога неровная. То яма под ногой, то камень.

Идаре на восточной окраине деревни — небольшой домик напротив лавки. Поскольку в этом домике проводятся сборы населения по различным делам новой власти, он теперь называется идаре. В некоторых других деревнях такие домики именуются избой-читальней...

Издали до меня доносится музыка. Это во дворе идаре играют на скрипке и дайре. Общественное мероприятие в крымской деревне без игры на скрипке и дайре представить невозможно. Скрипач — Ахмет, дайрист — Сеит-Вели. Махульдур богат музыкантами.

В темноте на заснеженных дорогах, на улочках и в переулках мелькают огни фонарей. Со всех концов деревни идут люди на сход в идаре, на обыкновенное крестьянское собрание. В первые дни, когда в эту деревню пришли красные комиссары и представители власти, назвали собрание крестьян «сходом», слово это показалось для уха

¹ Идаре — контора.

татарского крестьянина благозвучным, поэтому осталось в лексиконе населения Махульдура. В такие сложные времена, как теперь, крестьянам нравится разговаривать друг с другом, употребляя слова, услышанные от русских комиссаров; в таких случаях им кажется, что беседа обретает важность.

Я зашел в идаре и сел на краешке скамьи неподалеку от двери.

Население деревни постепенно собиралось. Люди расположились на длинных скамейках.

Якуб Хайбулла-оглы встал с места, прошел за стол, накрытый красной материей, и стоя окинул взглядом сидящих в зале. Люди с удивлением смотрели на красную звезду, прикрепленную к его шапке, и тихо между собой рассуждали, что бы она могла означать. Одни объяснили появление ее тем, что Якуб записался в Красную Армию, другие считали, что он, Якуб, — большевик.

«Товарищи! — сказал Якуб-Старса¹ Хайбулла-оглы; отец его, Хайбулла, при царе был старостой в деревне, а сын при новой власти стал председателем сельского совета. Прозвище отца пристало и к сыну. — Джемаат? — обратился Якуб-Старса второй раз и, нагнувшись к Бари, что-то зашептал ему на ухо. Бари — сын дульгера Алядина. Обменявшись несколькими фразами с ним, Якуб продолжил: «Нам следует поговорить сегодня по поводу двух важных вопросов. Первый — это борьба против бандитизма. Что это значит, объяснять вам не стоит, сами понимаете. Леса вокруг деревни кишмя кишат дезертирами, беглецами. Там имеются все сорта остатков деникинских и врангелевских частей, татарских эскадронов, головорезы Муслимова, Шнайдера, Курвы Мустафы и Гижика Аббаса... Им нет счету. Если мы выходим на работу в чаиры, сады или виноградники, они по-воровски спускаются в деревню, пугают наших детей, берут в заложницы женщин и грабят дома. Если отправляемся в лес за дровами, они на нас нападают, снимают с нас последнюю одежду, напяливают на себя, а свое обмундирование оставляют нам, но мы не берем его, ибо не хотим сойти за бандита... Под видом местных крестьян они перебираются на Кубань и там смешиваются с местным населением... Если мы ничего не

¹ Старса — искажение «староста».

предпримем, жизнь наша будет постоянно подвергаться опасности... Но мы сначала хотим услышать ваше мнение: как нам избавиться от этой напасти?»

Пока Якуб-Старса произносил эти слова, люди продолжали входить в идаре, стряхивали возле двери снег со своих шапок, с лохматых воротников, тушили огонь в фонарях и тихо проходили, садились на свободные места.

Сеит-Умер Асан-оглы, молодой человек крепкого сложения, сидящий возле стены и внимательно слушавший Якуба, подался вперед и вскинул вверх руку, скамья под ним закричала: «Имеется лишь один способ избавиться от этой напасти! — сказал он, тяжело поднимаясь с места. — Всех, кто приходит в деревню из леса, следует расстреливать!»

Якуб-Старса растерялся:

— Как... расстреливать?

— Очень просто! Ни лошадей, ни коров, ни овец не оставили в деревне, все забрали...

— Но все дороги к нам ведут из леса. По ним могут приходиться люди с добрыми намерениями, их тоже... расстреливать?

— К нам в деревню с добрыми намерениями пришла Советская власть, — сказал Сеит-Умер. — И все, кто за нее, давно спустились с гор, или присоединились к Красной Армии, или занялись своим крестьянским хозяйством. А эти, наоборот, убежали в лес. Значит, они против нашей власти. Их надо истребить!

— Их надо переловить! И если кто опозорил себя насилием, то порезать таких на мелкие куски! — сказал Мамут Незир-оглы.

— Таких облить бензином и поджечь! — сказал инвалид Ибраим, потерявший пальцы правой руки во время первой империалистической.

В идаре поднялся шум. Одни советовали, другие смеялись.

«Нет! — перекричал всех зычным голосом кузнец Сеит-Абдулла. — Их надо затравить собаками Аджи Керима из Гавра! Собаки их легко разыщут и раздерут в клочья».

Якуб-Старса поднял руку и, когда наступила тишина, сказал:

— Однако, акайлар¹, я полагаю, что применение столь диких средств не прибавит нам чести. Будь они бандиты или дезертиры, и для них имеется закон!

— Какой? Какой власти закон? — закричал Сеит-Умер. — Врангелевской, что ли? Мы живем теперь по советским законам! А они враги Советской власти!

— Мы издревле живем по закону совести! — сказал Якуб, тоже повысив голос. — Не забывайте, мы — горцы!

— Вот и будем наказывать их по закону гор! — подал голос Мамут Незир-оглы.

— Для того, чтобы задержать дезертира, необходимо оружие. Есть у нас оружие? — спросил Якуб.

— Об оружии пусть твоя голова не болит! — ответил Сеит-Умер; в помещении успели так накурить, что силуэт его едва проглядывался сквозь сизую пелену. — Под сколькими флагами пришлось влачить существование нашей деревне? Сколько сражений мы перевидали, сколько смертей? И если, натерпевшись таких ужасов, мы скажем, что у нас нет оружия, не будет ли нам стыдно?

Якуб-Старса улыбнулся, опять наклонился к Барии. Тот ему, кажется, сказал: «В нашей деревне сейчас трудно найти пшеницу, но в оружии, по-моему, никогда недостатка не было!» Они рассмеялись.

«Дела таковы, джемаат! — сказал Якуб, оборвав смех и сразу посерьезнев. — Оттого, что мы будем растягивать на долгий срок наши дела, жизнь лучше не станет. Позвольте задачу по борьбе с бандитами от имени населения деревни Махульдур возложить на Сеит-Умера Асана-оглы. Ему предоставляется право на создание для этой цели добровольческого отряда из молодежи. Тех бандитов, кто сдается сам, будете доставлять сюда, в сельский совет! А кто будет сопротивляться, откроет по вам стрельбу, тех надлежит беспощадно уничтожать. Но не забывайте: они хорошо вооружены, у них винтовки, пулеметы... всего предостаточно, К тому же это в большинстве не рядовые солдаты, а обученные в офицерских корпусах, закаленные в боях кадровые военные, непримиримые враги Советской власти».

В идаре снова поднялся гвалт, каждый выкрикивал что взбредет в голову, ничьих слов было не разобрать. Сеит-Умер тоже кричал,

¹ Акайлар — мужчины, мужики.

размахивал кулаком: «Мы не будем с ними проводить сходы! В бою некогда разбираться, кто добровольно сдается, а кто сопротивляется! Мы будем стрелять! Если мы не убьем их, то они убьют нас!»

Сеит-Умер, как видно, уже представлял себя командиром отряда, ведущего бой против беглых врангелевцев у подножья горы Куш-Кая. Он был доволен порученным ему заданием. При мысли о схватках с белогвардейцами у него и раньше чесались кулаки. Сеит-Умер, молодой, здоровый йигит, считал, что жизнь без приключений — это не жизнь.

Слово по второму вопросу Якуб-Старса предоставил уполномоченному волостного управления Бари Алядину-оглы. Высокий, широкоплечий йигит с тонкими усами, уже хлебнувший лиха на войне и рано возмужавший, встал, положил на стол брезентовый портфель и не торопясь открыл его.

«В нашем крае установилась власть рабочих и крестьян, — сказал он ясным, мягким голосом. — Власть еще молодая. Нуждается в материальной помощи. Имеется указание исполнительного комитета, согласно которому наша деревня обязана передать государству двух коров».

По залу прокатился гул.

— Двух коров? Государству? — переспросил кузнец Сеит-Абдулла.

— Совершенно верно, государству, — кивнул Бари. — Для Красной Армии.

— Где они, эти две коровы? — ехидно поинтересовался дайрист Нафе и, обернувшись к сидящим, развел руками: — Вы видели где-нибудь в нашей деревне двух лишних коров?

— У тебя, у меня... одним словом, у крестьян! — сказал Бари.

— Белая армия пришла — обирала нас. Немец пришел — отнимал все до последнего. Из лесу приходят качаки — тоже грабят. Теперь наша, своя власть тоже?

— Знаю, — спокойно сказал Бари, взглядывая в полутемный зал. — Деревню нашу грабят всякие пришельцы, из конюшен уводят лошадей, из сараев — коров. Но не Советская же власть это делает! Советская власть у вас ничего не отбирала. Кто хочет — дает, кто не хочет — не дает! Насильно ничего у вас не берут. Поэтому мы вопрос

этот обсуждаем на сходе. Как решите, так и будет. Но, если вы скажете, что в целой деревне нет двух коров, этому никто не поверит!

— Ты, Бари, четыре года был на войне, совсем недавно вернулся, положения нашей деревни не знаешь! — упрекнул его Сеит-Джелиль-акай, встав с места. В сигаретном дыму его едва можно было различить. — У нас не осталось ни коров, ни коз, ни овец! Все съели всякого рода головорезы. Население деревни голодает. Амбары пусты; в них ни муки, ни пшеницы. А на дворе еще только март.. снег, дождь. Ты только посмотри, в каком состоянии Махульдур! А положение наше с каждым днем делается все хуже и хуже. А ты, представитель власти, требуешь от нас двух коров! Где нам их взять?

— Где, где? — закричал Якуб-Старса, вскакивая. — Этого я не знаю, но мы их найдем и государству сдадим! Враги деревню нашу, безусловно, грабили, но она, деревня наша, не осталась, как ты ее рисуешь, голой и голодной! — И, словно поправляя ремень, он раздвинул полы пиджака, под которым все увидели кожаную кобуру револьвера. И шум постепенно смолк, люди молча переглядывались. — Двух коров для Советской власти не найдем, что ли? А не найдем коров, так вместо них соберем и сдадим яйца. Но Красную Армию без продуктов не оставим. Когда в деревне хозяйничала белая гвардия, у нас нашлись люди, которые дарили им коров. Вот он, список этих состоятельных хозяев, — сказал Якуб, поднял высоко лист бумаги, а затем передал его Бари. — Здесь имена восьми человек. Трое — из Махульдура, пятеро — из соседнего Богатыра. Каждый из них имеет возможность дать власти по корове. А не дадут, так я сам у них возьму и передам!

Бари молча прочитал список, сложил его и сунул в портфель. Гомон в зале не стихал. С места поднялся Сеит-Муртаза; вытянув Руку в сторону Бари, громко сказал:

— Что там на бумаге? Читай, чтобы мы тоже знали! Может, в ней есть и мое имя?

— Тогда прощайся со своей коровой! — буркнул сидящий с ним рядом Хаяли.

— Эй, Якуб-Старса, посмотри мне в глаза! — распалялся Сеит-Муртаза. — По-твоему, это власть трудящихся?

— Да! Власть рабочих и крестьян! Но в списке твоего имени нет, успокойся, — сказал ему Якуб. — Я нарочно тебя в него не записал. Решил тебя испытать. Но о том, что у тебя имеются в наличии корова и телка, я хорошо знаю.

— У меня нет телки! Была корова, так мы ее осенью зарезали и съели. Если бы я ее не зарезал, дети... да и мы все давно подошли бы!

— Я не хотел трогать твоей коровы... А теперь я вижу, ты стараешься изворачиваться! Корова и телка твои, наверное, спрятаны в чужом сарае! Лучше сам пригони их в свой двор! А не то я это сделаю. — Якуб-Старса обернулся к Бари: — Список у тебя в портфеле. Завтра в сельском совете ты получишь постановление этого собрания. Дадим тебе двух вооруженных человек. Достаточно будет? Обойдешь с ними дворы.

Бари опустил глаза, ничего не сказал, ибо разговор, состоявшийся на сходе, еще не означает, что все в точности так и будет. Тем не менее эту важную и трудную задачу придется выполнять с завтрашнего утра. Хорошо, если дело обойдется без скандала, а может все так обернуться, что и жертвы могут быть...

Якуб в середине зала заметил Фазыл-акая, который сидел, вытянув шею, и то поднимал руку с выставленным указательным пальцем, то опускал ее, хотел, видно, что-то сказать, но среди шума и гама голоса его совсем не было слышно.

— Ты, Фазыл-ага... что хочешь сказать? Какое у тебя горе? — спросил у него Якуб.

Фазыл-акай, тихий, скромный человек, встал с места, посмотрел вправо, влево, казалось, он испытывал какую-то неловкость.

— У меня есть корова, — замямвшись, проговорил он. — Не телится третий год. Но крупная, упитанная...

— Она у вас одна потянет больше, чем три коровы! — громко заметил Сеит-Умер Асан-оглы.

Зал грохнул от смеха. А когда шум утих и люди с интересом уставились на Фазыл-акая, он смущенно закивал:

«Да, да!.. По весу, пожалуй, сойдет за три коровы. Но коль скоро Красная Армия испытывает нужду в мясе, я могу отдать ее... Лучше ее, чем заберете у кого-то хорошую корову...»

Лица людей, сначала не воспринявших слова Фазыл-акая всерьез, вытянулись, теперь они не смеялись, прятали друг от друга глаза.

«Слыхали, акайлар! — сказал Якуб-Старса, показывая пальцем на Фазыл-акая. — Советская власть будет существовать благодаря таким людям, как он! Машалла тебе, Фазыл-ага!»

После этого Якуб объявил сход закрытым и сказал, что можно расходиться. Он, Бари, Сеит-Умер встали, прошли по узкому проходу между скамьями и вышли во двор. Часть собравшихся тоже направилась к выходу, другие остались, занявшись разговором, им хотелось еще посидеть, поговорить. Ахтем взял скрипку, провел смычком по струнам, зал наполнился приятной, нежной мелодией. Сеит-Вели-ага заперепирал пальцами правой руки по туго натянутой сухой коже дайре. И прозвучала «Марсельеза». Да, да, именно «Марсельеза»... В деревне многие знали ее слова, правда, на турецком языке. Музыку эту принесли в нашу деревню революционные матросы. И население Махульдур, однажды услышав, теперь не может ее забыть. Командование белой гвардии преследовало тех, кто ее пел, грозило повешением, расстрелом...

Двое йигитов, явившихся на сход навеселе, стали танцевать хайтарму. К ним присоединились и другие. Долго танцевали. Расходиться стали поздно ночью по двое, по трое...

Я шел, ощупывая палкой дорогу, как слепец, и думал о том, что появление на сегодняшнем сходе музыкантов вроде бы не соответствовало цели и характеру собрания, тем не менее они пришли, сказывалась-таки сила национальной традиции. И правда, наверное, что население крымских деревень не может обходиться даже на сходах без музыки...

Я тихонько постучал не в дверь, а в окошко, как велела мне хозяйка. Быть может, Саабе-апте уже спала, не хотелось ее пугать. «Кто там?» — отозвалась она из глубины дома. Нет, не спала она. Как только узнала мой голос, быстро встала, открыла дверь и, увидев меня, почему-то обрадовалась:

— Где вы были, Абдурешид-оджа? — спросила она с тревогой. — Там, где-то на Бойке, недавно раздавались выстрелы. Какая-то женщина кричала, плакала, звала на помощь. Я чуть с ума не сошла, ожидая вас. С вами ничего не случилось?

— Нет, все у меня в порядке. Ходил на сход, — сказал я, сожалея, что Саабе-апте не предупредил.

— В идаре? — поинтересовалась Саабе. — Оно в очень неудобном месте, там никогда ничего не слышно. — Она подняла фитиль лампы, в комнате стало светло. — Мария принесла обед. Подогреть?

— Поздно уже, Саабе-апте, — сказал я. — К тому же я очень устал. Лучше поем утром.

— Как хотите... Обед на печке. Постель постелена, — сказала Саабе-апте тихо и, прикрутив лампу, ушла в свою комнату.

Я разделся и лег. Только начал засыпать, вдруг услышал приглушенный голос Саабе:

— Ну, что было там, на сходе? Не сказали, когда откроется капаратиль?

Я помалкивал, пытаясь сообразить, что же пытается она от меня узнать. Вскоре она поняла, почему я молчу, и принялась объяснять:

— Соседка Терзи Зеиде как-то говорила, что в деревне откроется казенная лавка, капаратиль.

— Не знаю, на сходе о кооперативе речи не было, — ответил я, несколько раздраженный, что она меня разбудила.

— А кто провел сход? Сын старсы?

— Да. Якуб Хайбуллаев!

— Как вы сказали, Хайбуллаев? Сын старсы стал Хайбуллаев?

— А как же? — сказал я. — У руководителя новой власти должны быть и новое имя, новое звание, новая должность.

— Может быть, оно и так, — согласилась Саабе-апте.

— А сын дульгера Алядина теперь кто? Он тоже — власть?

— Безусловно, — подтвердил я. — Якуб многие дела решает, только согласовав с ним. Бари вернулся с войны, став большевиком. На такие должности, как у Бари, кто попало не назначается.

— Якуб Хайбуллаев... скажи пожалуйста! — проговорила Саабе-апте и хихикнула; через некоторое время добавила: — Якуб смелый человек, но много думать не способен. Бари не такой. Бари рассудительный, деликатный. А в этих делах нужны холодная голова и горячее сердце... Вот, скажем, сын Мустафы-акая — Сеттар... тот жестокий, настырный. Сеттар вы знаете? Сквозь каменную стену

пройдет. Но каково его отношение к Советской власти, один бог знает. Ох, и отчаянный этот Сеттар...

Я сказал Саабе-апте, что Сеттар-ага собирается поехать в Симферополь, хочет там поступить учиться в партшколу. Саабе-апте снова вспыхнула: «Стало быть, он тоже безбожник? Большевик?» Я попытался ее успокоить, надеясь, что она после этого уйдет к себе и даст мне уснуть:

— Я это сказал к тому, что вас интересует, каково у Сеттара-ага отношение к Советской власти. Если бы он относился к Советской власти плохо, то в партшколу не стал бы поступать!

— Кто знает! — пренебрежительно махнула она рукой. — То, что он поступает в партшколу, еще ничего не значит...

Она порывисто встала и вышла. В соседней комнате что-то грохнуло. По-видимому, Саабе-апте, задев, опрокинула стул. Затем там погас свет.

— Пусть делают, что хотят, лишь бы меня не трогали, — сказала хозяйка, укладываясь в постель. — По моему мнению, религия, вера, мечеть — все это священо, а все остальное...

Я долго лежал молча. Однако сон мой развеялся.

— Саабе-апте! А кто такая Мария? — спросил я.

— Мария? Она украинка, — отозвалась хозяйка, долго молчала, потом спросила: — Что, нравится? Она старше вас...

Я не ответил. Вскоре в доме стихло. Долго не было слышно голоса Саабе-апте, и я подумал, что она заснула. Но нет, она встала, сняла четырехугольную деревянную крышку с ведра, погрузив в него медную кружку, набрала воды и напилась. Мне было слышно, как крупные глотки проскакивают сквозь ее горло. Затем вернулась и долго укладывалась, вздыхая и что-то бормоча. Дверь в ее комнату осталась приоткрытой, я хоть глазами не вижу, но слышу, что там происходит. Веки мои стали постепенно тяжелеть. И вновь вздрогнул я от донесшегося голоса.

— Абдурешид-муаллим! — сказала Саабе-апте низким голосом. — Вы песню «Топузлы шалым»¹ знаете? Есть такая песня. О трагедии, приключившейся в нашей деревне... Не слышали?

— Что за трагедия?

¹ Топузлы — шалым платок с кистями.

— Вай! Чего в Махульдуре много, так это трагедий! — Она приподнялась, села в постели, негромко запела. Голос был у нее сухой, слабый, но довольно приятный, и в нем словно была растворена сама печаль. Слова песни были действительно очень грустными. Похищенная из дому немым девушка обращалась к родителям, которые постареют в один день, узнав о свалившемся на их головы горе:

О, моя бедная мама, о, мой бедный папа!

Из-за меня спины ваши сгорбятся...

Меня обманом заманили,

Усадили силком на коня.

И в чаире Мустафы-бея

Надо мной надругались...

Но есть у меня с собой чабанский нож...

Пусть мне саван сошьет

Моя любимая тетя.

В пятницу, в праздник,

Помолитесь о моей душе!

Закончив петь, Саабе-апте долго молчала, затем спросила:

— Ну, как? Слыхали такую песню?

— Слышал... Только я не знал, что она родилась в этой деревне.

— Чаир Мустафы-бея находится за горой Кобекнин Текнеси¹ по дороге к Картал-Кая², — объяснила Саабе-апте. — Жестокий турок Лютфи... погубил тогда красивую, как пери, девушку, дочь Аджи-Усеина...

— Когда же это случилось?

— Давно. Мне мама рассказывала. У турка Кязима был сын, Лютфи. Они были богачами. Лютфи частенько приезжал в Махульдур к своим друзьям. Однажды он увидел у фонтана дочь Аджи-Усеина — Хатидже. Она ему, говорят, очень понравилась. Посылал к ее отцу несколько раз сватов, но Аджи-Усеин всякий раз отказывал ему. Но Лютфи — турок, представитель привилегированной прослойки людей в Сюйренской долине. Получение от простого крестьянина отказа в чем бы то ни

¹ Кобекнин Текнеси — Раковина пупка.

² Картал-Кая — Орлиная скала, название утеса.

было воспринимается как позор. Огромную обиду затаил он на татарина...

А в дом Аджи-Усеина тем временем приходит несчастье — умирает его жена. Проходит какое-то время, и он женится на вдове Нахие. Та была женщиной черствой, безжалостной, издевалась над падчерицей своей Хатидже, ненавидела ее.

Лютфи знает о недобрых отношениях между мачехой и девушкой. Находит в деревне одинокую, бедную, но ловкую на всякие нечистые дела женщину, через нее посылает Нахие деньги, дорогие подарки и таким образом договаривается с мачехой девушки о том, что та поможет ему выкрасть Хатидже и увезти к себе в Фотисалу.

В темную ночь, когда население Махульдураспало, Лютфи и двое его друзей приезжают сюда на конях. Нахие, обманув падчерицу, заставляет ее надеть на себя лучшее платье, самые дорогие ожерелья, золотые кольца, серьги и выводит ее на улицу. Вдруг налетают незнакомые всадники, не дают девушке опомниться, хватают ее, бросают в объятия Лютфи, и все три всадника, настигая коней, исчезают в темноте...

Нахие возвращается к себе во двор, стоит, ждет, когда топот копыт стихнет в ущелье, и потом начинает кричать, рвать на себе волосы: «Добрые люди! Помогите! Дочь мою похитили айду³ты!..»

Соседи вскакивают из постелей, выбегают на улицу: «Что случилось, Нахие-апте?» — «Вай, бандиты напали на нас, похитили нашу Хатидже!» — кричит, обливаясь слезами, Нахие. — «В какую сторону они ускакали?»

Женщина показывает на почтовую дорогу, уводящую на север.

Шесть всадников точно молния устремились по дороге, куда указала Нахие. Можно не сомневаться, что эти йигиты не раз настигали айдутов, умыкавших девушек, налетали на них как коршуны, отбирали девушек, а с самими айдутами расправлялись по закону гор.

А в это время трое всадников-айдутов, оставив позади деревню, придерживают коней, прислушиваясь, нет ли за ними погони. И находят они не на северной стороне, куда указала Нахие, а на западе. Тихо, только издалека доносится лай собак. Тем не менее, Лютфи не

³ Айду³ты — бандиты.

собирается подвергать себя опасности: оставив вооруженных дружков, чтобы следили за дорогой и в случае чего открыли стрельбу по преследователям, сам спешит дальше, поторапливая коня. Он намерен доехать лесной дорогой до Кок-Коза, а там и до Фотисалы рукой подать. Рот девушки заткнут платком, завязан, кричать она не может, лишь стучит ногами, руками, пытается вырваться, соскользнуть с седла, убежать. В такую темную ночь, если скроется в лесу, то может и спастись. С трудом справляется с ней Лютфи, удержать девушку нелегко, он уже выбился из сил. Ему надо отдохнуть, иначе девушка освободится, чего доброго, от пут. Поэтому он повернул лошадь на корув Мустафы-бея, обнесенный изгородью от всякой лесной твари, любящей поживиться плодами огородов. Заехав в корув, Лютфи спрыгивает с коня, стаскивает девушку с седла, валит на траву... Рассчитывает на то, что обесчещенная девушка не решится возвратиться в отцовский дом, смирится с судьбой и согласится стать его женой. Девушка — слабое, нежное, божественное создание, а Лютфи — сильный, дерзкий молодой человек, сын богатого турка Кязим-бея, для которого не существует ничего недозволенного... Лютфи, наконец, выбившись из сил, расслабил объятия и не заметил, как девушка вынула из его ножен кинжал. Она слабой рукой нанесла ему несколько ударов, но он увернулся и отпрянул. И тогда она полоснула себя кинжалом по горлу...

Лютфи подобрал кинжал, вытер его о траву, сел на коня и уехал...

А шестеро йигитов, погнавшихся за похитителями, промчались по горным дорогам, объехали все деревни, расположенные по северную сторону от Махульдур, да так и возвратились в свое селение ни с чем на усталых, взмыленных, еле плетущихся конях.

Узнав о том, что любимая дочь похищена, отец Хатидже теряет сознание, у него отнимаются ноги...

На следующий день после происшествия охотник Исмаил отправился в лес на охоту за зайцем. В лесном владении Мустафы-бея он набрел на труп дочери Аджи-Усеина....

«Вы, Абдурешид-муаллим, видели в нашей деревне хоть одного бедного турка?» — спросила Саабе.

Она спросила об этом громким голосом, прервав свой рассказ, чтобы убедиться, что я ее слушаю, а не сплю. Если я не отвечу, то она

вздохнет, повозится еще немного и уснет. Но я не сплю. И тем не менее ответил ей не сразу, потрясенный услышанным. К тому же откуда мне было знать живущих тут турок.

«Об одном турке я наслышан. Говорят, он богатый, — ответил я. — Это Мемед-Али. Но самого его еще не видел».

«Когда их узнаете, то убедитесь, что бедных среди них нет. Мемед-Али, Осман, Юсуф, Зекирья, Тарахчы Али, Абдулла... Когда они приехали в нашу деревню, на них были одни штаны, да и те в дырках и заплатках. Я была тогда маленькой девочкой, но все хорошо помню. За восемь лет делали то, делали другое, где честно, а где обманом, и стали владельцами половины земель Махульдура. Выращивают табак, сушат, упаковывают и продают его крупнейшим фирмам, так вот и разбогатели. Построили себе большие хоромы. Приобрели тысячи овец, коров... Каждой весной с Украины приезжают сотни молодых девчат, работают на табачных плантациях Мемеда-Али, а когда наступает Покрова, девчата получают заработанные деньги, возвращаются к себе на Херсонщину. Следующей весной опять приезжают. Девушки здоровые, красивые. Немало наших йигитов влюбляется в них да женится... Правда, их родители не дают на это согласия, пока девушка не пойдет с нареченным к мулле и не примет мусульманскую веру, татарское имя и фамилию. Потом у них рождаются дети. Потомство их разговаривает на нашем языке. Мне кажется, народы наши отличаются друг от друга только религией и языком, на котором разговаривают, а кровь у них течет одна..

Словом, все виноградники, фруктовые сады, табачные плантации нашей деревни в основном в руках тех, кто ходит в красных, фесках с кисточками...

Крестьяне наши злятся, ругаются, сетуют, но что делать, кому пожаловаться? Молодежь деревни ненавидит бейских сыночков, однако хватать их за грудки при встрече на улице — это непристойно, позор. Отцы и деды нас воспитывали не так. Всему есть время и место. А самое подходящее для этого место — свадьбы. Когда заиграет зурна, загремит давул под ударами чокмара¹, рюмки звенят, соприкасаясь друг с другом, в глазах становится мутно, а в теле закипает кровь, тогда между йигитами из крестьян и сыновьями беев нередко завязываются

¹ Чокмар — тяжелая колотушка.

драки, летят тарелки и бутылки, разбиваясь вдребезги, пускаются в ход ножи...

Правда, и среди беев есть порядочные люди. Скажем, Ислам-бей... Говорят, когда-то он был очень богатым. Потом с ним что-то случилось, он обанкротился, задолжал. Сейчас вряд ли он может похвастать высокими доходами... Но, говорят, Ислам-бей и раньше не был высокомерным человеком. Бывало, делал для населения немало добрых дел. И сейчас он не презирает людей за бедность. И вообще, если говорить откровенно, то в нашей деревне много непонятного...» — сказала Саабе-апте и умолкла.

— Что именно? — спросил я.

— Скажем, маховики паровой мельницы Мемеда-Али еще и теперь вращаются в интересах хозяина. Прибыли от фруктовых садов, виноградников, табачных плантаций идут в его карман. А Якуб-Старев и Бари ломают голову... двух коров для Красной Армии найти не могут. Собираются отобрать у голодного Сеит-Муртазы последнюю телку. Разве это не странно, Абдурешид-муаллим?

— Отобрать последнюю телку? Кто это вам сказал?

— Кто сказал, тот сказал. И у земли есть уши. Слышала!

— Ну и ну!.. — приподнялся я на тахте. — О телке был разговор всего час тому назад на сходе!

— Сосед Зейтулла обо всем мне рассказал, пока вы добирались до дому, — сказала Саабе-апте.

— Такие дела весьма ответственные, — сказал я. — Если бы сверху было указание забрать коров у беев, Якуб Хайбуллаев вряд ли колебался бы. Стало быть, указания такого не было. Лишь обратились с просьбой к населению — добровольно оказать помощь Красной Армии. Теперь каждое указание сверху имеет особый смысл. Кто хочет, тот и отдает. Если бей делают вид, что у них ничего нет, то это их дело...

Я долго лежал молча, глядя в окно, в которое были видны звездное небо и черные очертания гор. Хозяйка, видно, уснула. Меня стал донимать тонкий свистящий звук проникающего сквозь оконную щель ветра. Пытаясь отвлечься, я стал размышлять: «Что представляет из себя Саабе-апте, простая деревенская женщина? Она нигде не училась, где же набралась этой мудрости?»

Спал я в ту ночь скверно. Утром встал с головной болью, тело словно побитое. Тихонько оделся и вышел. Саабе-апте сидела на табурете у окна и смотрела в сторону горы Эрикма с белой вершиной. Тонкая сигарка, которую сама свернула из газеты, почти догорела в ее пальцах, пепел с нее насыпался на пол. Она о чем-то так глубоко задумалась, что позабыла про сигарку.

— Доброе утро, Саабе-апте! — сказал я совсем негромко, но она вздрогнула и повернулась ко мне. — О чем вы печалитесь? Не стоит горевать, если мир устроен не так, как вам бы хотелось!

— Ах, балам¹, мало ли причин для того, чтобы задуматься?

— Причин, разумеется, много, — согласился я. — Однако простите меня за любопытство, днем в ваш дом приходят девушки. Говорят, вы обучаете их чему-то. Скажите, эти девушки буквы знают, читать, писать умеют?

— Нет, они букв не знают. Я им читаю Коран, они слушают и запоминают. Мы часто повторяем отдельные суры²...

— И это — все?

— А еще я учу их совершать намаз...

— Зачем это?.. — подумал я. — Что за прок знать Коран, если ни читать, ни писать не умеешь? — Саабе-апте словно прочла мои мысли, улыбнулась, глядя на меня.

— Если хотите, могу и вас научить... Не смейтесь! Вы, наверное, думаете, что, поскольку вы учитель, то и Коран читать умеете? А вот давайте, посажу я за Коран вас и одну из моих девушек, и тогда поглядим, кто из вас будет читать правильнее...

Я пожал плечами, подумав, что эта пожилая женщина, видимо, слишком высокого о себе мнения, хотя всего-навсего что она умеет, так это правильно читать Коран... Это источник ее дохода. Но я Саабе-апте ничего не сказал, вышел на веранду и стал умываться.

— Я учу девчат по научному методу, а не просто так, — сказала Саабе-апте, выйдя вслед за мной.

— Сами вы буквы-то хоть знаете?

¹ Балам — дитя мое.

² Сура — глава из Корана.

— Знаю... Как же, — опешила она. — Меня учил отец, который окончил медресе, — сказала она, стяхивая с платья пепел. — Отец умер рано...

Она подогрела на печке обед, принесенный вчера для меня из дома Ислам-бея, поставила на софру.

Я предложил Саабе-апте присоединиться к трапезе, но она отказалась, сказав: «Я только что позавтракала...»

Я все же оставил в чанаке для нее немного плява¹. Наверное, ей неловко есть вместе со мной, сидя напротив, думает, мне самому мало... Пусть хоть немного поест, когда меня не будет дома.

Я вытер губы салфеткой, встал и отправился в школу.

Дом Саабе-апте расположен на восточной окраине деревни, стоит спиной к почтовой дороге, ведущей в соседнее село Богадыр. Уж на исходе последняя неделя марта. Ночью выпал мелкий снег, покрыл землю тонким, как простыня, слоем. Кто-то из сельчан в прошлую пятницу на рассвете увидел над Куш-Кая красную радугу. Говорят, это к неурожаю...

В школу я пришел чуть раньше времени. Ученики по одному, по двое входили в калитку. Я остановился под тутовым деревом, растущим во дворе, и стал наблюдать за ними. Когда я их увидел впервые в декабре, они были какими-то другими. Лучше одеты были, что ли, подвижней, жизнерадостней. В углу двора находилась спортивная площадка, где стояли лестница для малышей, с перекладки свисали кольца на прочных веревках, длинный шест, там были качели и брусья; эта площадка всегда очень привлекала детей, там всегда толпились, бегали ребятишки, нередко устраивали скандал со старшеклассниками из-за того, что они занимают всю площадку, а малышам приходится ждать, пока те вдоволь наиграются. Чтобы поупражняться здесь на турнике, на брусьях, на кольцах, многие ученики приходили в школу пораньше.

А сейчас пересекают двор и проходят прямо в школу, в сторону спортивной площадки и не смотрят, все какие-то задумчивые, тихо здороваются со мной и направляются к двери, которая то и дело со скрипом отворяется, а затем хлопает. Постояв еще немного, я тоже вошел в школу и направился в учительскую. Там сидел, перелистывая

¹ Плав — рисовая каша с мясом и сухофруктами.

классный журнал, Ягья-эфенди. Он кивком ответил на приветствие и улыбнулся, кажется, даже обрадовался моему появлению.

— Как ваше здоровье, Ягья-оджа? — спросил я, тоже радуясь встрече. — Мы давно вас не видели. Где же вы пропадали? Лицо Байрашевского помрачнело, он задумался.

— Приезжал из уезда инспектор, — ответил он, — объезжал деревни, мне пришлось его сопровождать. Положение тяжелое, Абдурешид! Советская власть установилась на огромной территории, но страна убогая, изнурена войной, кругом один разор. Правительство принимает меры, чтобы исправить положение, но сил у правительства не хватает. Я ходил с инспектором в Богадыр. Там предполагается открыть кооператив, а у нас — избу-читальню. Продавца для кооперативной лавки подобрали, но вот человека, разбирающегося в делах учета и отчетности, нет. Просят, чтобы я, хотя бы временно, стал у них бухгалтером.

— Будете ходить из Махульдура в Богадыр на работу?

— Придется.

— А в нашей деревне не думают открывать кооператив?

— Для двух деревень одну лавку считают пока достаточной...

Пришел Исмаил-эфенди, перешагнув порог, потопал, стряхивая с башмаков снег, потом поздоровался и поинтересовался, о чем мы беседуем. Ягья-оджа повторил новость о кооперативе.

— Да, вот что я запомнил! — воскликнул он, обернувшись ко мне. — В Дубагче открылась больница. В большом здании возле каменного моста. Туда приехали уже врачи, привезли оборудование.

Исмаил-эфенди остался доволен новостями о кооперативе. Недаром люди ждут от новой власти много хорошего.

Вскоре пришла и Сафие-оджапче, веселая, улыбчивая. По-видимому, ей уже известны новости, о которых рассказал нам Ягья-оджа. Не успела она снять пальто, как прозвучал звонок на урок.

Я, как обычно, взял классный журнал и направился в класс. Не знаю, оттого ли, что я тут моложе всех, после звонка не могу оставаться в учительской ни минуты. Иной раз прихожу в класс раньше учеников. Видно, все еще сидит во мне привычка школьных лет, когда сам еще был учеником. Я проследовал застекленной

верандой, широкой и длинной, свернул за угол и у двери моего класса увидел дульгера Алядин-акая...

— Да, да, — Абдурешид-оджа улыбнулся, рассказывая мне это. — Алядин-акая, вашего отца!

Я подружился с ним с первых дней моего приезда в Махульдур, мы очень скоро привязались друг к другу. Это был честнейшей души человек, хотя и довольно строгий. Волосы, борода коричневые, словно кора крымской сосны, слегка посеребренные сединой. Я подошел. Он тесал топориком небольшую доску. Несколько строганных досок метра по два длиной стояли прислоненные к стене; у его ног — деревянный ящик, в котором лежат гвозди, клещи, молоток, стамеска. Мы поздоровались.

«Исмаил-эфенди просил, — сказал Алядин-ага, кивнув на доски. — Полы кое-где подгнили. Вот я и пришел. А как же иначе? Дети-то учатся тут наши. Кому помогать школе, как не нам? И на террасе перила расшатались. Если кто из детей сорвется, не дай бог, поломает руки-ноги. Починить полы, перила, конечно, я почию, но для этого нужны толстые сосновые доски. Где они? В деревне их нет. Надо отправиться далеко в лес, на Бойку, с лошадьёю и саними, затем добираться верст пять к Алупкинскому перевалу, оттуда привезти сосновый кругляк, потом распилить их на доски, просушить, тогда только и будут сосновые доски. Кто это сделает? В мыслях у людей теперь совсем другое... ломтик хлеба. Коль так, я решил пока заделать прогнившие места в полу досками из липы. — Алядин-ага махнул рукой, прерывая разговор о досках, и уставился на меня: — Каждый день проходите мимо наших ворот, а в дом давно не заходили, — заметил он. — Дома ли Бари, нет ли его, не имеет значения, захаживайте по вечерам, ювез еще не кончился, максума тоже имеется», — улыбнулся старик, и глаза его исчезли между веками, а как только он перестал улыбаться, вновь на меня уставились, внимательные, ироничные.

«Благодарю вас, Алядин-ага! — ответил я. — В одну из ближайших пятниц непременно зайду!»

Дульгер принялся отпиливать концы досок легкой пилой. Я вошел в класс. Ученики, как всегда, встретили меня вставанием с мест.

Мой первый класс азбуку уже знает. Я взял мел и написал на классной доске: «Да здравствует Советская рабоче-крестьянская власть!» И велел ребятам переписать эти слова в свои тетради. Сказал, чтобы они выписывали каждую букву ясно, четко, красиво, чисто, а когда они закончат писать, то я проверю.

После этого я занялся вторым классом. Попросил детей открыть книгу для чтения. «Ну-ка, Эмине! — сказал я дочери Мемеда-Али и, подойдя к ней, ткнул пальцем в название сказки «Хитрая лиса». — Читай-ка!»

Старый учитель, прервав на этом месте свой рассказ, задержал на мне плутоватый взгляд и улыбнулся:

— Помните эту девочку?

— Эмине? Да! — ответил я. — Помню...

— Отец Эмине — турок, мать — украинка. Эмине внешне вылитая мать. В классе никто из вас говорить по-русски не умел, а Эмине умела. Вы сидели с ней за одной партой, вам было по девять лет. Когда вы Эмине обижали, то она вас дразнила: «Аджи-гуджи мандалач! Аджинынъ къызыны ал да къач!» Однажды во дворе, когда она во время игры сказала вам это, я пальцем подозвал ее и спросил, что означают эти слова. Эмине сразу не смогла объяснить. Подошла к каменной стене, подле которой росла трава, сорвала какое-то растение — тонкий, длинный стебелек желто-розового цвета, на макушке пышная головка из мягкого белого пуха, как у одуванчика; держа его в вытянутой руке, сказала:

«Аджи-гуджи мандалач, аджинынъ къызыны ал да къач!» — и дунула. Пух разлетелся с цветка в разные стороны, малая часть его осталась. «Это — аджи дедушка, — сказала Эмине. — Аджи-гуджи мандалач, аджинынъ къызыны ал да къач... — произнесла она во второй раз и снова дунула; на цветке не осталось ни пушинки. — Это — аджи бабушка, — сказала девочка. — Когда-то дедушка умыкнул бабушку и они стали двумя половинками этого цветка. Обязательно надо дунуть два раза, чтобы на нем не осталось ни пушинки. Ни за что не сможете сдуть с первого раза...»

И правда, сколько я потом ни пытался сдуть с этого цветка пух за один раз, мне это не удавалось...

Сейчас Эмине читала сказку по слогам, сильно затягивая гласные, некоторые слова произносила, делая неправильные ударения. Я ее спокойно поправлял. Пока девочка прочла всю сказку, вся раскраснелась, вспотела. «Тебе, Эмине, надо дома почаще читать, — сказал я ей. — Язык у тебя подвешен хорошо, но читаешь ты неважно!»

Вы сидели рядом, и я теперь велел читать вам. Вы сначала читали хорошо, но потом что-то случилось. Вас что-то рассмешило, и вы прыснули. А засмеявшись, потеряли строку. А когда ее нашли, не смогли сразу собраться с мыслями...

Эмине же в этот момент склонилась к вам и насмешливо спросила: «Аджи-гуджи, что с тобой? Быть может, ты потерял дар речи?» Вы, осерчав, толкнули девочку плечом, она задела локтем чернильницу, которая скатилась по парте и упала на колени Эмине, платье ее залили чернилами. Она заплакала, вскочила и выбежала из класса.

Я ничего девочке не успел сказать, чтобы ее остановить. Эмине умная, красивая девочка. Но и младший сын дульгера... — старый учитель хитро улыбнулся, глядя в мою сторону. — Да, младший сын дульгера тоже был не из плохих учеников в классе. Я не хотел обидеть ни ее, ни вас. Но Эмине — дочь Мемед-Али-бея. Оставить без наказания того, кто ее обидел, нельзя, невозможно. Чтобы все увидели, как я на вас сердит, я крепко схватил вас за ухо:

— Что ты наделал? — закричал я. — Ты испортил ей платье, которое она надела сегодня в первый раз! Тебе не стыдно?

— А ей?... — спросили вы со слезами на глазах. — Эмине не стыдно? Сама читать не умеет, а надо мной насмехается!

— Не насмехалась она, а посочувствовала. Ты проявил по отношению к ней бестактность.

— Если это платье испачкалось, пусть наденет другое, — упрямо стояли вы на своем. — У нее оно не единственное!

— Не огрызайся! — прикрикнул я на вас. — А то позову сейчас твоего отца! Он тут, на веранде, поговорит с тобой, — и сделал вид, что направляюсь к двери.

— Не надо! — вскочили вы и схватили меня за рукав. — Не зовите отца!

Дульгер был человек суровый. Плохих поступков детям своим не прощал, строго наказывал.

— В таком случае ступай в угол! — приказал я вам.

С большим трудом переборов собственное упрямство, вы вышли из-за парты и направились в угол. И я до сих пор помню, как вы при этом на меня посмотрели...

Наступил апрель с его изменчивой погодой. То яркое солнце щедро грело землю, то небо вновь затягивали тучи и в воздухе летали снежинки. Посевы в чаирах, высунув зеленые макушки из-под земли, ждали теплого весеннего дождя.

До нас стали доходить слухи, что население Южного берега голодает. И в самом деле, скоро в горных деревнях, в том числе и в Махульдуре, стали появляться мужчины и женщины, пришедшие сюда из Алупки, Мисхора, Лимены, преодолев высокие горы; вытаскивая из висевших на плечах узлов поношенные брюки, рубашки, камзолы, чекмени и умоляюще глядя на хозяев запавшими печальными глазами, они предлагали поменять вещи на один саан¹ пшеницы, на ломоть хлеба, на одну окку² отрубей. Если им удавалось кого-нибудь разжалобить, они, вновь преодолевая высокие горы, перевалы, воздавая хвалу Аллаху, спешили обратно домой.

Однако посещение жителями побережья наших деревень продолжалось недолго. Продукты вскоре кончились и у населения нашей деревни. Голод пришел и к горцам...

В Махульдуре первыми начали уносить людей на кладбище из нижней деревни, что вблизи почтовой дороги. Бедные крестьяне, ну никак не хотели они умирать. Ели все, даже старые чарыки, поджарив их на огне; ели траву, растущую в горах и садах, под заборами чаиров, переловили мелких домашних животных. Люди изо всех сил старались спастись от смерти. Не многим это удалось. Каждый день в деревне умирало по несколько человек. Иногда в доме умирал последний жилец, и его некому было похоронить. Много домов осталось без хозяев, в очагах потухли огни. Бесхозные дома разорялись чужими, рушились, и на них, как на могилах, вырастала трава.

В один из таких дней Сеит-Умер Асан-оглы и его друзья привели из леса двух дезертиров со связанными руками. Один — татарин, другой — неизвестно кто, оба страшно худые, оборванные, голодные. Татарин

¹ Саан — небольшая медная посуда.

² Окка — три фунта.

— подпоручик кавалерийского полка, входившего в состав конной дивизии Сулеймана Сулькевича, он был ранен в ногу и едва стоял. Бари поговорил и с тем и с другим. Оба в один голос заявили: «Согласны поклясться в том, что больше бороться против Советской власти не будем! Если нам позволят; то будем служить новому режиму, Красной Армии. Только... распорядитесь скорее, чтобы нас покормили».

Бари им хотел дать по крошечному куску хлеба, но Сеит-Умер резко отвел его руку.

«Их было шесть человек! — сказал Сеит-Умер. — Мы вели перестрелку полдня. Только когда четверым из них мы приказали долго жить, эти двое сдались!»

Бари распорядился, чтобы пленных отвели в районный центр.

Отряд под командованием Сеит-Умера еще долгое время воевал против остатков белых банд. А позже Сеит-Умер исчез и больше в деревне не показывался. Одни говорили, что он поступил в Тотай-койский педагогический техникум учиться. Другие уверяли, что он погиб в одной из схваток с бандитами в ущелье Картал-Дере.

А голод продолжался. Никто к голодающим людям не спешил на помощь. Число учащихся в школе катастрофически уменьшалось. А те, кто все еще приходил учиться, еле передвигали ноги. Дети на глазах у родителей начинали опухать от голода...

До лета тысяча девятьсот двадцать первого года нам за наш учительский труд из отдела народного образования ни одной копейки зарплаты так и не выдали. Обеды от Мемед-Али и Ислам-бея нам стали присылать все реже и реже и наконец, вовсе перестали. Ягья-эфенди, Сафие-ханум и я поистине оказались в безвыходном положении. Лишь в июле по просьбе Исмаила-эфенди нам выдали по одной окке хамсы и по два фунта повидла. И все. Ни зарплаты, ни продуктов...

Кончился учебный год. В городе открыли курсы повышения квалификации учителей. Я не знаю, как стал бы жить, если бы советский отдел народного образования не послал меня на учебу. На курсах собралось более двухсот татарских учителей начальных школ. Кормили нас из рук вон плохо. В день — маленький кусочек хлеба, на обед — миску супа. На завтрак и ужин — чуть подслащенный чай.

Около сорока учителей, не выдержав полуголодного существования, покинули курсы. Я решил терпеть. Это далось мне

непросто, но я окончил курсы. Однако в Махульдур я не поехал, а вернулся в Бахчисарай.

Однажды в наш дом принесли письмо. Под ним стояли подписи Исмaила-эфенди и Ягьи Байрашевского. Они извещали меня о том, что в деревне для меня приготовили мешок ржи, и просили вернуться в Махульдур, продолжить там учительство.

Ариф-Мемет тоже прочитал это письмо и потребовал, чтобы я немедленно собирался в дорогу. «Целый мешок ржи! Сейчас у кого есть такое добро?» — воскликнул он.

Я отмахал по горным дорогам сорок верст пешком и пришел в Махульдур. Байрашевский приютил меня в одной из комнат своего дома. Он купил его у Абдуллы-эмдже, у которого Байрашевские жили, когда еще только прибыли сюда. Абдулла-эмдже продал им и табачный сарай, и свой чаир, а сам переехал в один из пустующих домов, каких в этом голодном году в деревне оказалось множество. Как только я переступил порог отведенной мне комнаты, сразу увидел мешок ржи, приготовленный для меня. Так я обрадовался, что мне это трудно передать! Мешок ржи! Еще день назад мне это представить себе было невозможно! По существу, первое вознаграждение за все время моего учительства!

На следующий день я отсыпал полпуда ржи и отправился в Гавр на мельницу Зекирьи-турка, смолот и вернулся домой с мукой. Теперь каждый день я пек себе такос пите...

Когда впервые за много месяцев я наелся хлеба, голос мой, походка изменились. Я почувствовал, как у меня в ногах, руках прибавилось силы...

Посевы в чаирах выгорели, не успев пойти в рост. Погибли надежды крестьян на урожай.

Пришла осень. Подули холодные ветры, загнали отощавших людей в неуютные дома...

В школу приходят всего пять-шесть учеников. Это — дети более-менее состоятельных крестьян. У них есть еще сила, чтобы приходить в школу, но учиться желания нет. Домашние задания ими часто не выполняются.

В одну из пятниц в дообеденное время я завернул к дому дульгера Алядина, где был в последний раз месяца два назад. Вошел во двор и,

поднимаясь по деревянным ступенькам на веранду, увидел Мунтеа-апте. Она обрадовалась мне, как появлению родного сына.

— О, Аллах! — всплеснула она руками. — Кто это? Не Абдурешид ли оджа, который уже седьмую неделю обещает и все никак не может навестить Алядина-ага?

— Он самый и есть! — сказал я. — Вы на меня так глядите, будто в самом деле по мне соскучились!

— А вы как думаете, не соскучились? Разуваюсь на веранде, я заглянул через приоткрытую дверь в прихожую.

— Бари-ага дома? — спросил я.

— Нет! — ответила Мунтеа-апте. — Встал чуть свет, взял винтовку и ушел, ничего не евши. Сказал, на Голосной важный дел есть.

Когда Мунтеа-апте употребляет русские слова, ее не всегда бывает легко понять, ибо она искажает их до неузнаваемости. Я не без труда сообразил, что Бари-ага пошел в волостное управление по важному делу. А волостное управление находится за большим мостом в Дутбагче.

— Алядина-ага тоже нет?

— Он дома. Почему ему не быть?

Она пригласила меня зайти в дом, сесть на сет, а сама вышла во двор и исчезла за каменным забором. Вероятно, пошла звать из сада дульгера.

Я решил тем временем пройтись по комнатам, осмотреться. Дульгер Алядин многим строит в деревне дома, а каков его собственный дом? Двухэтажный. Стены комнат нижнего этажа сложены из скального камня. Стены второго этажа возведены из чита, плетня, оштукатуренного с обеих сторон и побеленного. Зимой, должно быть, в комнатах второго этажа довольно холодно. Дульгер и Мунтеа-апте живут на первом этаже. Одна комната служит магазином¹, кладовкой, где в добрые старые времена хранились мука, пшеница. В углу прислоненная к стенке софра и всякая домашняя утварь. Земляные полы помазаны красной глиной. В другой комнате, где живут старики, полы деревянные, у противоположных стен сколочены сеты, на них в два-три слоя миндеры...

¹ Магаз — хранильница сокровищ, амбар, склад, кладовая.

Пока мой учитель мне рассказывал все это, перед моими глазами возник наш дом в Махульдуре, в мельчайших подробностях я увидел небольшие уютные комнатки, где что стоит и где что лежит...

Бари-ага в последнее время бывал в Махульдуре редко. Другой мой брат, Абдулмеин, жил в Насверне², в Восточной бухте Севастополя. Поэтому в зимние ночи я и старший мой брат Юнус спали вдвоем на узком сете под одним ватным одеялом в маленькой комнате.

У нас была одна большая комната — на втором этаже. И убрана она была по строгому старинному обычаю, в ней мои родители обычно принимали гостей. В ней начинались свадебные вечера, когда отец выдавал замуж моих сестер. Потом, когда гости все прибывали и прибывали, свадьба перемещалась и в другие комнаты, и во двор. А в обычные дни в этой большой комнате на втором этаже сушили кизил, орехи, ювез. Да мы с Юнусом тут спали летом...

Зимой, если в сарае было холодно, отец приносил на руках в дом маленького теленка, укладывал его в магазине, на мягком войлоке, укрывал старым ватным одеялом. Ухаживал за ним, как за ребенком. Ночью, часто просыпаясь, вставал, заглядывал в магаз. Если одеяло сползло с теленка, поправлял.

Во дворе у нас всегда лежали деревянные заготовки разного размера, отрезанные, отпиленные, обработанные инструментами. В сарае огромный станок, возле него всегда куча щепок, стружек, опилок, на стене висят в ряд плотницкие инструменты. В следующем отсеке сарая хранится саман, сено. Здесь же содержится корова, теленок.

Однако... Корова и теленок были когда-то, от них остались только шкуры, и те засохли, облезли, теперь голод...

— Я стоял на веранде второго этажа и глубоко задумался, когда снизу донесся голос Мунтеа-апте, — продолжал рассказывать мой учитель. — Она привела дульгера.

Я спустился вниз. Алядин-акай тепло приветствовал меня. Мы зашли в комнату, сели, стали расспрашивать друг друга о здоровье, сетовать по поводу кошмарной жизни, высказывать предположения о том, что будет дальше.

В жестяной печке о четырех ногах запылились, потрескивая, сосновые дрова. В окно мне было видно высокое тутовое дерево, что

² Насверне — искаженное «на Северной».

росло у вас во дворе, голые черные ветви его были покрыты пушистым снегом.

Хозяин, сухотелый, зеленоглазый, улыбается, поглядывая на меня, и поглаживает коричневую бороду, в которой заметно прибавилось седины. На нем учкурлы штан¹, серая рубашка без ворота, расстегнутая на груди, покрытой седеющими волосами.

— Что-то вас давно не было видно, муаллим?

— Вот пришел, а вас нет...

— В огороде землю ковырял, — ответил уста².

— Зимой? — удивился я.

— Да, зимой! — кивнул дульгер. — Под землей с прошлого года, оказывается, осталась картошка. Для нас неожиданный клад! Жить стало трудно, оджа. Дай Бог здоровья нашему Абдулмеину. Что бы мы делали, если бы не он!

Средний твой брат Абдулмеин, так же как и Бари, служил, как ты знаешь, в империалистическую войну в кавалерийском полку. Получил тяжелое ранение в голову под Бердичевом и длительное время лечился в лазарете. А когда вышел оттуда, то был признан негодным для дальнейшей военной службы. Он вернулся домой и жил некоторое время в Махульдуре. В поисках заработка часто ходил в Кок-Коз, где встретился с Сеит-Джелилем Халиль-оглы. Сговорившись, они поехали вдвоем в Севастополь, купили ханаз-бары в Насверне, открыли фруктовую лавку, а в самом городе мануфактурный магазин. Спустя год-два Абдулмеин распрямил свою спину, сам стал владельцем порядочного капитала, открыл мануфактурный и бакалейный магазины... Благодаря ему дульгер, Мунтеа-апте и их младшие сыновья пока что от голода не опухли. Но и сытыми тоже не были. Если бы Алядин-акай по складу своего характера не был изворотливым, семья его все равно не смогла бы спастись от голода. Дульгер постоянно ходил по горам, по лесам, охотился за зайцем, часто возвращался с добычей, приносил всякие лесные плоды, ягоды, выжимал прессом сок, варил бекмес³, часть его выменивал на кукурузную муку, так и подкармливал четырех человек...

¹ Учкурлы штан — широкие крестьянские штаны, похожие на шаровары.

² Уста — мастер.

³ Бекмес — патока.

Много времени спустя — полгода ли пройдет, год ли, точно не знаю, — однажды в ваш дом придет, опираясь на палку и пошатываясь от слабости и старости, Исмаил-эфенди Акки, заглянет в большую комнату и, увидя, что Мунтеа-апте стоит на коленях и молится, тихонько закроет дверь, сядет на лавке во дворе и станет ждать. А дождавшись, когда Мунтеа-апте закончит молитву, он войдет в дом, поздоровается, расспросит, как живет им, как здоровье Алядина-ага...

Мунтеа-апте ломает голову, что могло привести почтенного эфенди к ним, она в растерянности, предлагает ему сваренный утром холодный картофель в мундире. Исмаил-эфенди благодарит, но от угощения отказывается.

«Я, Мунтеа, пришел к вам с большой просьбой, — говорит он. — Надо испечь хлеб — для населения нашей деревни. Из муки, которую наша страна получает от иностранного государства, из Америки. Придется в день три раза месить тесто, три раза разводить огонь в печи, — а у вас она вон какая — три раза класть хлеб... Дело это нелегкое, не под силу одному человеку. Но мы доверяем эту работу вашей семье. Вас, Мунтеа, и Алядина я знаю хорошо. Душа моя будет спокойна, если за эту работу возьметесь вы!»

Исмаил-эфенди говорит, делая большие паузы, словно ему не хватает воздуха, руки у него дрожат, то и дело он вытирает платком выступающий на лбу пот.

Вокруг свирепствует голод. Горе и смерть хотят лишить людей последней надежды на выживание. Как тут не помочь, чтобы победила жизнь? Мунтеа-апте соглашается... И на следующий день она замесила тесто первой выпечки. О, бедная женщина, она работала и плакала от радости. Алядин-акай помогает ей. Он принес из лесу дрова, напиллил, нарубил, развел огонь в печи. И так — каждый день, и не один раз, а трижды. Мука была превосходного качества, в наших деревнях ее называли «сенка»¹; хлеб получался белый-белый, мягкий-мягкий. Мунтеа-апте получала за каждую выпечку по одной буханке хлеба.

Семья Алядин-акая постепенно вошла в силу. В ваш дом вернулся свет, который уже начал было покидать его, уступая место мраку. Вы, дети, повеселели, голоса ваши стали звонкими, а в глазах появился блеск. Так Мунтеа-апте спасла вас от смерти...

¹ Сенка — сеянка.

Но в тот день, когда я был в гостях у вас, ни дульгер, ни Исмаил-эфенди, ни Мунтеа-апте, ни я, никто еще и представить себе не мог, что придет такое счастливое время и у нее появится возможность печь хлеб, готовить еду для голодающего населения деревни. В тот период, когда я был в Махульдуре, о помощи иностранного государства еще не было и речи.

Дульгер сам сварил картошку, Мунтеа-апте принесла, положила на софру кукурузную лепешку, которую прятала где-то, и мы, беседуя, с аппетитом ели. Дульгер сказал, что, к сожалению, он не может угостить меня максумой: просо, которое хранил он для того, чтобы сделать максуму, неделю назад вынуждены были съесть.

Я заметил, что дульгер с интересом посматривает на меня, хочет, видимо, что-то сказать, но не решается. Потом все же спросил:

— Сколько времени, как вы у нас учительствуете?

— Больше года, — ответил я.

— Правительство, наверное, платит вам за вашу службу очень много?

— Денег? Ну что вы!.. — воскликнул я. — Мне дали мешок ржи.

— Мешок ржи? Всего? — не поверил он. — Ваш труд в течение года стоит мешка ржи?

Мне было стыдно признаться, что это именно так, я опустил глаза. За софрой воцарилось молчание. Дульгер в сердцах хлопнул себя по колену и с укоризной покачал головой.

— Вы учите наших детей читать и писать, учите их уму-разуму. Мы, крестьяне, за это должны преклонять перед вами головы... Один мешок ржи? — усмехнулся он. — Можно ли так оскорблять учительство?

— Прощу прощения, — сказал я. — Еще по два фунта повидла и по одной окке хамсы нам дали. Забыл вам сказать! Дульгер уставился на меня, моргая. Ничего не сказал.

— Власть новая, население голодное... — сказал я, словно бы оправдываясь. — Власть должна собраться с силами. В ее руках особых богатств еще нет. Все вынуждены создавать заново. А в некоторых местах война с противниками новой власти еще не закончилась...

Уста слушал меня с вниманием, потом сказал: «Сам я не учился. Даже мектеба не посещал, где мои сверстники по восемь лет зубрили арабский язык и письма. Так пусть хотя бы учатся мои дети!.. Для

этого я готов на все. Бог даст, мы в этом доме, построенном мной самим, с Мунтеа Шерфе еще долго проживем. А дети пусть учатся, станут полезными для государства людьми...»

На террасе послышались шаги. Мунтеа-апте быстро встала и направилась к двери, но та открылась, и в комнату вошла Мумине младшая сестра вашего отца, которую вы тогда величали алапче¹. Высокая, стройная женщина с красивым, хотя и с ранними морщинами лицом. Работая с молодости на табачных плантациях своего отца, она привыкла как к скромным радостям, так и к суровым ударам судьбы. Выйдя замуж за Ислам-бея, она стала матерью четырех сыновей, четырех дочерей, а недавно они усыновили русского мальчика, бродяжку, родители которого умерли где-то в дороге, и имя дали мальчику Ислам. Времена нынче были такие, что даже в доме бея не всегда всего было вдосталь. Такую большую семью кормить, одевать было непросто. Когда урожай с чаиров был собран, Мумине садилась на телегу на резиновом ходу, в которую обычно запрягались самые сильные лошади, и через Ай-Петри ездила по курортным городам: спускаясь к Южному берегу, торговала лучшими сортами табака, фруктами и имела с этого немалый доход. Однако соблазнам высокообеспеченной жизни не поддавалась, целиком отдавалась заботам о земле, семье, жила по правилам шариата.

Когда у нее выдается свободное время, она не забывает проводить родственников. Более близких людей, чем старший брат Алядин и старшая сестра Зеиде; проживающая в Нижнем маалле, у нее нет. Дом, в котором живет Мумине, расположен на правом берегу речки, на возвышенности, дом дульгера — напротив. Живы ли, здоровы ли ее брат и сноха? Об этом она может узнать тотчас, стоит ей только посмотреть из окна своего дома: открытая веранда брата смотрит в сторону окон Мумине. Кто в доме у брата, чем он занимается? — издалека все видно. Но Мумине не довольствуется тем, что смотрит на них из окна, а нередко отправляется в дом, расположенный на левой стороне ущелья, чтобы лично осведомиться о здоровье брата и снохи, их детей, и таким образом хоть на краткое время отвлекается от повседневных забот о собственной шумной семье.

¹ Алапче, ала — тетя (сестра отца).

На этот раз визит Мумине совпал с моим пребыванием в доме Дульгера. У близких людей всегда бывает свой разговор, общие заботы. Так что, посидев еще немного, я поднялся было, чтобы уйти домой. Но Мумине-апте не разрешила мне уйти. «Сидите, муаллим-эфенди!» — сказала она очень вежливо, и тем не менее в голосе ее звучала властность; поколебавшись, я снова сел; несмотря на то что еду мне приносили из их дома, видел я ее впервые. Она приветливо улыбнулась: «Расскажите-ка, муаллим, что делается на белом свете, чтобы мы тоже знали!..»

Я не располагал никакими новостями, которые могли бы заинтересовать Мумине-апте, и посему пожал плечами и помолчал.

Мунтеа-апте опять подала кофе, и я выпил второй фильджан. У людей в деревне, если даже нет куска хлеба, кофе почти всегда имеется. Мумине-апте посоветовала, что необходимо отвезти тюки с табаком на Суюренскую железнодорожную станцию, погрузить в вагоны и отправить в Мелитополь, а сделать это некому.

— Не могу ли я хоть как-то вам помочь? — спросил я.

— Вы берегите свои силы, чтобы мел не вываливался из ваших рук, — немножко грубовато, как мне показалось, сказала она.

Речь зашла о тяжелом положении крестьян.

— Скажи мне ради Аллаха, ага! — обратилась Мумине к брату. — Когда, наконец, кончатся эти выстрелы по ночам, эта вражда, ненависть друг к другу? Когда? — У нее на лице было отчаяние.

Желая ее хоть как-то успокоить, Алядин-ага сделал вид, будто удивился и не понимает, о чем речь.

— Какие выстрелы? Я каждый день хожу в лес. Там тишина... Никаких выстрелов...

— Тишина? В лесу? Вы что, ага? — возмутилась сестра. — Жители деревни стараются подальше обходить лес, ущелье, говорят, там под каждым кустом затаился айдут! А вы... Это вы один такой герой — в лес ходите в такое время...

— Кое-где в лесу прячутся врангелевцы, это верно, — сказал дульгер. — Но они сами нас боятся. Если кто-то из них выпустит из винтовки хоть одну пулю, то они тотчас будут пойманы. Поэтому они прячутся в глуши скал, в пещерах, надеются, что Красная Армия

отступит из Крыма и они тогда спустятся в наши деревни, расправятся с активистами...

— Зачем вам, ага, так часто ходить в горы? — спросила Мумине. — Разве у вас дома нет лесоматериала? Или дров?

— Дело не в этом... Я собираю там орехи, ягоды, вечером возвращаюсь домой с полным мешком этого добра...

— Лучше скажи, ага, что говорит Бари? Что будет с нами? Мужа моего зовут Ислам-бей... Таких, говорят, всех без разбора нынче относят к врагам новой власти. Не так ли, ага?

Дульгер, сидя на сете возле печки, на своем постоянном месте, молчал. На вопрос сестры не ответил. Не захотел ответить. Не станет же он рассказывать ей о своих спорах с Бари, о том, что он по этому поводу говорит. Сестра возмутится и скажет: «Можно ли услышать нечто иное от человека, который не признает уразу, в мечети не бывает даже по пятницам?! Власть нынче та, которую он искал! Коробка покатила и нашла свою крышку!»

Дульгер глубоко задумался и наконец сказал:

«Ислам — не помещик. У него нет табунов лошадей, овец, коров, пасущихся на яйле. Всего-навсего табачная плантация, фруктовый сад, огороды... Вот и вся его собственность. А зовут Ислама беем потому, что и бедняком его тоже не назовешь...»

«Ну, так что будет с нами?»

«Что я могу тебе сказать? — ответил, вздохнув, дульгер. — Я человек слишком маленький для того, чтобы тебе на это ответить... Шестьдесят лет я с топором в руках рублю лес, делаю вилы, грабли, колеса для телег и везу их в степные уезды, там их продаю. На вырученные деньги покупаю пшеницу, сало. Так мы и живем... Каждый человек живет по какому-то собственному закону, по какому-то порядку. Ты всегда была женщиной смышленной, очень смелой и умной. Я хорошо знаю способности, которыми ты обладаешь. Если бы вашим хозяйством управляла ты, а не Ислам, то, я уверен, вы жили бы лучше, были бы много богаче. А хозяйством вашим всегда распоряжался Ислам, а он мало что в этом смыслит. К нему лишь пристал титул бея, доставшийся по наследству от отца. Вот я сейчас и думаю: хорошо это, что он не умеет толком вести хозяйство, или плохо? — Дульгер, прищурясь, устремил на сестру плутоватый взгляд. — Если судить по

обстановке нынешнего времени, то, выходит, хорошо. Нынче чем беднее человек, тем для него лучше, тем он более уважаем... Так что не знаю, как на это посмотрит Советская власть».

— А твой сын Бари? Разве он не Советская власть? Может, он в волостном управлении замолвит за нас пару слов?

— Нет, — покачал отрицательно головой дульгер. — Бари этого не сделает! Он потеряет доверие населения, если это сделает...

Алядин-акай говорил это, а сам смотрел вниз, ему было тяжело вести разговор с сестрой.

Надолго воцарилась пауза. Алядин-акай порывисто встал, вышел во двор, сел на лавку, обхватив голову руками. Мумине — его душа и кровь. Каково будет положение сестры и ее мужа? Он не хочет, чтобы семья ее стала несчастной. Но Мумине более двадцати лет замужем за Ислам-беем. За тем самым беем, отец которого однажды, застав в своем саду десятилетнего Алядина и его дружков, велел работникам спустить на них собак...

За софрой разговор более не возобновился. Мумине вытерла слезы краешком махрамы¹, тихонько вздохнула и встала.

«Надо идти, — сказала она, обращаясь к Мунтеа. — Дома дел невпроворот. Приходится самой за всеми следить. Думают, коль власть теперь пролетарская, то можно не трудиться, а живот сам по себе будет сытым. До свиданья, енгепче², вы, в отличие от брата, всегда любезны со мной, я признательна вам!»

«Дай Бог здоровья тебе и терпения, Мумине! — ответила Мунтеа, поднимаясь с места, чтобы ее проводить. — Я тоже высоко ценю доброту ко мне! Не обижайся на пустые мужицкие слова твоего Алядина! Он только с виду кажется грубым, а душа у него добрая. Любит он тебя, потому и переживает... но не хочет, чтобы ты это заметила. Такой вот он, родился и вырос в этой деревне, даже в Бахчисарае ни разу не побывал...»

«Прошу извинить меня, Мумине-апте, что я вмешиваюсь в разговор, — сказал я, когда она уже приоткрыла дверь. — Советская власть до сих пор ни у кого ничего не отобрала. Что касается частной собственности, то это будет решаться, я думаю, по новому закону,

¹ Махрама — домотканый головной убор с узорами.

² Енгепче — обращение к жене старшего брата.

только по закону. Новая власть — народная. Вот и будет учитываться во всем мнение народа. А не так, как при старом строе: является инспектор жандармерии со свистком во рту и с ним два солдата с винтовками! Вот и весь закон!»

«Но, Абдурешид-эфенди, разве вы не видите, какое насилие кругом?! — возразила Мумине-апте. — Каждый творит, что хочет! Будто настал конец света!»

«В деревнях жизнь стала, безусловно, беспокойной... Началось это раньше, до прихода новой власти! Где вы видели насилие в течение последнего года? Всякое зло потонуло в Черном море вместе с белой гвардией. Вы не смешивайте вместе деяния обеих властей. Да, вы правы, кое-где раздаются выстрелы в деревне, в горах, в лесу. Но ведь борьба еще не закончилась...»

Мумине-апте пристально посмотрела на меня, распахнула дверь и вышла. Мне было видно в окно, как она, прикрывая нижнюю половину лица махрамой, перешла двор и, выйдя за ворота, направилась к ущелью, свернула на тропинку, ведущую к водопаду, который гремел, шумел, падая в бездну...

На восточной окраине деревни, в конце длинной, постепенно забирающей вверх улочки стоит двухэтажный дом Абдуллы-бея, который во время восхода сверкает, отражая солнце, всеми стеклами верхней и нижней веранд. На крыше торчат три металлических шеста с красными, зелеными и желтыми шарами на конце. По утрам, когда из-за горы Куш-Кая выплескиваются первые лучи солнца, шары эти первыми ярко загораются над деревней.

Я, проработав здесь столько времени, видел Абдуллу-бея всего один раз. Про этого человека рассказывают в деревне удивительные вещи. Считается, что он живет в Махульдуре, однако появляется он тут крайне редко. Объявится, покажется раз-другой на людях и снова надолго пропадает куда-то. Зато когда он здесь, непременно встречается с малоимущими селянами, посещает намаз в мечети, молится там со всеми вместе. Захаживает и в школу, детям раздает конфеты, а сам присматривается к ним, а затем родителям плохо одетых ребятешек предлагает деньги для покупки детской одежды. И вновь исчезает из деревни месяца на три-четыре... Однако люди в любой момент могут вновь увидеть его, едущего в автомобиле по

каменистой, испещренной рытвинами дороге, где едва проезжают даже арбы, в которые впряжены волы. Правда, уже давно его никто не видел, но все надеются, что увидят... А чаще всего Абдулла-бей оставляет, говорят, свой автомобиль в обширном дворе дворца князя Юсупова, в соседней деревне Кок-Коз. Абдулла-бей — младший брат Ислам-бея... Но то, что он редко приезжает в Махульдур, а в доме своего старшего брата почти не бывает, люди объясняют бесконечными распрями, возникавшими между братьями из-за их владений.

В деревне поговаривают, что года четыре назад в Махульдуре побывал секретный агент жандармерии, искал Абдуллу. Однажды даже его схватили возле дома работники секретной службы, он тогда спасся, откупившись крупной суммой. После того случая вел себя крайне осторожно, еще реже стал тут появляться. А то, что он будто бы занимался коммерцией, все выдумки, для отвода глаз, а на самом деле он служил большевикам в Петербурге: зарабатываемые им деньги шли в кассу подпольной большевистской организации... Махульдур — родная деревня Абдуллы, а жена, как я слышал, уроженка Литвы. Их двухэтажный дом у нас подолгу пустует. А когда Абдулла вдруг приезжает, то его любимое занятие во время пребывания в деревне — это охота за зайцем. День-деньской пропадает он в лесу, в горах...

Он же привез в свое время в Махульдур Лемана-эфенди и, определив его учителем, попросил учить местных ребятишек русскому языку. Леман-эфенди дружил с Усеином Токтаргазы и Абдулла-беем. Они, будучи в близких отношениях с князем Юсуповым и людьми его окружения, научились русскому языку.

А нынче все хорошо помнят последний приезд Абдуллы в Махульдур. Это уже было после установления в Крыму Советской власти. И остановился он почему-то не в своем доме, а у дульгера Алядина; мол, как-то неуютно одному в большом пустом доме. А на следующий день он явился на сход и своей речью в защиту новой власти удивил население. «Что же это получается?.. — говорили люди, пожимая плечами и разводя руками. — Старший и младший — два родных брата... Но один такой, а другой совсем иной».

И вдруг Махульдур достигли вести, будто представители новой власти арестовали Абдуллу-бея. Люди в это не хотели верить и страшно переживали...

С каждым днем в школу приходило все меньше учеников. И однажды, когда мы сидели в учительской, то и дело поглядывая в окно, в надежде услышать веселые звонкие голоса, Байрашевский глубоко вздохнул и сказал: «Кажется, настало время нам серьезно поговорить о создавшемся положении и прийти к какому-то решению. А то происходит черт-те что! Это разве учеба?»

На следующий день заведующий нашей школой Исмаил Аккий отправился в деревню Богадыр — в сельский совет. Там он встретился с председателем сельсовета Якубом Хайбуллаевым, рассказал о сложившейся ситуации. Хайбуллаев согласился с мнением Исмаила-эфенди, что занятия в школе лучше на какое-то время прекратить. А 12 февраля 1922 года Исмаил-эфенди, Ягья-оджа, Сафие-оджапче и я, четыре учителя, сели на стулья вокруг жарко натопленной железной печки, заведующий нам сообщил решение сельского совета. Мы нашли его разумным. Исмаил-эфенди дрожащим сдавленным от волнения голосом выразил нам, учителям, благодарность за добросовестную работу в школе в такое тяжелое время.

Затем мы все вышли. Было морозно. Двор был устлан ровным гладким снегом, и на нем ни единого следа от детских ног. Исмаил-эфенди закрыл дверь, вдел в петлю железную щеколду, повесил огромный замок и, вставив ключ, повернул два раза. Вынув его, посмотрел на него долгим взглядом, опустил в карман.

Настало время и мне прощаться со своими коллегами. Увидимся ли еще когда-нибудь, придется ли мне еще учительствовать в этой деревне? Не знаю. Я обнял Исмаила-эфенди, прижался щекой к его колючей сидящей бороде, и долго мы так стояли, молча, не находя слов, чтобы сказать друг другу. И я почувствовал, что щека моя стала мокрой. Меня душили слезы, но я сдержался. Это были слезы Исмаила-эфенди. Сердце мое сильно колотилось. Прервать занятия в середине учебного года и уйти, оставив учеников, которых я успел так полюбить, было нелегко. Не просто мне было расстаться с Исмаилом-эфенди, этим умным, добрым человеком, с Ягьей-оджа, Сафие-оджапче, которые стали мне близкими, словно родными...

Таким образом, прошагав пешком сорок километров, я вернулся в Бахчисарай, к себе домой. И в Махульдур больше не поехал. Не потому, что не хотел. А так складывались обстоятельства...

Абдурешид-оджа, сказав это, умолк... Задумался.

Я посмотрел в окно. Уже начинало смеркаться. С чинары падали и, кружась в воздухе, ложились на землю большие листья янтарного цвета. Оджа взглянул на ручные часы, а затем перевел взгляд на те, что висели на стене. Улыбнулся мне и с грустью произнес:

— Вот и переворошили мы с вами старую историю...

— О нет, мой дорогой муаллим, то была не старая история, а новая! — возразил я ему. Наша деревня еще не была полностью очищена от остатков прошлого мира, вокруг нее рыскали белогвардейские банды, группы анархистов, а вы, не побоявшись, приехали к нам, наш первый советский учитель. Нас, детей крестьян, которые носили на ногах чарыки, а на головах мохнатые шапки, вы учили, объясняли нам, кто друг, а кто враг... Вы словно вернули меня в детство, в родной мой Махульдур. Я ведь родился в этой горной деревушке, пил ее кристально чистую воду, бурно текущую с гор, слушал и радостные, и грустные песни моей матери, которые она пела по вечерам, сидя на веранде нашего дома...

Я вспомнил теперь, как вы уходили из нашей деревни. Мы, мальчишки, проводили вас до околицы и долго стояли у края дороги, глядя вслед вам, пока вы не скрылись за увалом.

Ягья-оджа и Сафие-оджапче остались. Им некуда было податься. Те четыре или пять лет, что они прожили в нашей деревне, научили их немало. Жить им как-то было нужно, и в апреле у них во дворе в парниках выросла рассада табака. В мае началась посадка. Потом производилось первое окучивание уже подросшего молодого табака. Мы, дети, как могли, помогали им. Началась ломка, нанизывание и сушка табака. Сделали дамет, тай и, наконец, сдали табак в государственное управление, получили солидные деньги. Но голод все еще крепко держал людей за горло. Когда кругом царит голод, имеют ли какое-либо значение деньги?

Так минул еще один год. И пошли дожди. По ущелью, бушуя и беснуясь, понеслись бурные потоки. Воздух был пропитан ароматом нежных горных цветов. В садах запели птицы. Пшеничные поля зазеленели, потом заколосились. К концу лета собрали урожай, Люди наелись хлеба...

Однажды почтальон Казариади принес Ягье Байрашевскому письмо, испещренное штампами и печатями. На официальной бумаге, которую Сафие-ханум извлекла из конверта, было отпечатано на машинке распоряжение о необходимости срочного выезда Байрашевского с супругой в Симферополь для постоянного жительства и работы в Народном комиссариате просвещения.

Махульдур пришел в отчаяние. Из дома в дом переходила весть о том, что любимых учителей забирают. Население не хотело с ними расставаться, население протестовало. Однако маленькая деревушка оказалась бессильной против приказа Народного комиссариата.

Деревня предоставила в распоряжение учителя повозку, в которую были запряжены две сильные красивые лошади, на шею которых надели кожаные хомуты с колокольчиками. Усадили на нее Ягья-эфенди и Сафие-оджапче, погрузили их нехитрый скарб, поблагодарили и попрощались со слезами на глазах...

Я и Юнус, как могли, помогали отцу. Я был хотя и младше брата, но посильнее, смекалистее. Иногда отец, осерчав на Юнуса, говорил ему, указывая на меня: «Вот он хоть сколько-то учился и потому способнее тебя!..» Юнус обижался и, еле сдерживая слезы, отвечал: «Если бы была школа, я бы тоже учился!» — «Разве вокруг мало школ? Поезжайте, куда хотите, только учитесь!» — говорил в сердцах отец.

И Юнус однажды после такого разговора, осердясь, засунул в карман ломоть пшеничного хлеба, головку чеснока, надел чарыки и отправился по узкой тропинке в горы, на перевал... Через месяц он известил родителей письмом, что поступил в Ялтинский рабфак.

Теперь отец нет-нет да и стал попрекать меня: вон, мол, старший брат твой учится, а ты бьешь баклуши.

«Какие же я бью баклуши, когда тебе помогаю?»

«И сам управлюсь, силы еще есть. Я хочу, чтобы вы учились...»

А тут в Махульдур поступило известие, что в Бахчисарае на базе русской гимназии создана девятиклассная школа для совместного обучения татарских и русских детей.

Исмаил-эфенди решил повезти туда своих сыновей, Сеит-Мемета и Нуреддина, предложил поехать с ними и мне. Когда я сказал об этом отцу, он ответил: «Куда хочешь, туда и поезжай, только учись, стань человеком...»

Когда вы, дорогой оджа, вызвали меня к доске и потребовали, чтобы я написал: «А-на... Ана Ер», — мне было восемь лет. Теперь мне шел тринадцатый...

Исмаил-эфенди повез нас, троих махульдурских мальчишек, в Бахчисарай. Устроил нас учиться в новую школу. Мы жили в интернате Орта медресе. Преподавали у нас известные в то время учителя Ягья Наджи Байбуртлы, Умер Сами, Билял Терликчи...

Трудное то было время, зато и интересное. Бахчисарай мало изменился и жил все той же старой жизнью. По улицам разъезжали фаэтоны, ходили караваны верблюдов, в магазинах продавались восточные сладости, чудесная халва, пахлава; в оживленных местах, на площадях и перекрестках жарились чебуреки, булгача, шашлыки. Улицы оглашались криками хозяев кофеен, продавцов, зазывающих покупателей. Подле стен мечетей стояли группы татарских цыган с музыкальными инструментами и по заказу виртуозно исполняли любые крымские мелодии...

Но, как бы мне тут ни нравилось, все мысли мои постоянно были о Махульдуре, об отце и матери...

Хотя жизнь заметно изменилась в лучшую сторону, мне казалось, что им все еще трудно живется. Поэтому каждое воскресенье рано утром я сажусь на автобус. В маленьком узелке два фунта кофе в зернах, одна окка кускового сахара, одна окка халвы... Выходить приходится из автобуса в Куртлерском маалле в Кок-Козе. Прижимая узелок к груди, чтобы, не дай бог, не уронить, перехожу по раскачивающемуся мосту бурную реку; затем следую по улочкам, иду напрямик через зеленые сады и оказываюсь в маалле Бедим-бея. Отсюда и до широкого шоссе рукой подать. Но шоссе вскоре сворачивает, совсем не туда, куда мне надо, и я не без труда перелезаю через высокий забор и долго шагаю по узкой тропе чаира, пока она не выведет меня на дорогу, по которой обычно крестьяне на кодалаках¹ возят дрова или лесные фрукты. Вершины гор постепенно темнеют, укутываясь предвечерней мглой, и я прибавляю шаг. С появлением в небе первых звездочек я оказываюсь на окраине Махульдура. Тут я, чтобы не идти по каменистой дороге, которая долго петляет по склону горы, перелезаю через забор в табачную плантацию Мустафы-эмдже,

¹ Кодалак — двухколесная арба, удобная для езды в горах.

миную густую дубовую рощу и, подойдя с тыльной стороны к нашему дому, перепрыгиваю через забор в наш сад. Ступая на цыпочках, поднимаюсь на веранду, тихонько открываю дверь... Видели бы вы, мой учитель, удивленные и радостные лица моих матери и отца... Ради этого стоило проделать такой путь!

Вы, наверное, помните, оджа, что в те времена авторитет йигита в военной форме был чрезвычайно велик. В особенности в обществе девушек и молодых женщин. Что же касается меня, то я, когда видел мужчину в военной форме, с саблей на боку, шпорами на сапогах, не мог от него оторвать глаз. Я мечтал стать командиром конного подразделения. Поэтому, как только мне представилась возможность, я поступил в кавалерийское училище, готовящее офицеров...

До Махульдура я добрался в этот раз к полудню. Мать оказалась дома одна. Увидев меня, долго-долго смотрела, словно не веря глазам, не понимая, наяву ли, во сне ли меня видит. Я подбежал, обнял ее, поцеловал в худую щеку, поседевшие волосы.

— Сынок, сегодня же не выходной день...

— Милая мама, я очень соскучился по вас!

— Сынок, — произнесла мама дрогнувшим голосом. — Я тоже соскучилась по тебе. Сегодня утром, когда пила кофе, погадала тебе на кофейной гуще. Тебе выпал далекий путь...

Мне спазмы сдавили горло. Какие же матери бывают чуткие! Неужто прознала каким-то образом, что я вознамерился уехать далеко от Крыма? Нет, не могла она этого узнать! Лишь сердце ее что-то почувствовало и забилося, видно, тревожно.

— Я, мама, правда, собрался в путь! Иду на военную службу! — сказал я, несколько покривив душой и не упомянув про военное училище, чтобы она не догадалась, что иду добровольно. — Приехал с вами попрощаться!

Услышав про «военную службу», она вздрогнула, вся как-то съежилась, обняла меня за плечи и тихо заплакала.

— Приехал... Чтобы сразу уехать!.. — бормотала она, и ее слезы капали мне на плечо. — Придет ли этому конец когда-нибудь?

— Служить в армии — долг каждого, мама! — сказал я и, немного помолчав, огляделся и спросил: — А где отец?

— Он на Юртю¹, — ответила она.

— Что он там делает? Ведь теперь вся земля принадлежит колхозу, не так ли?

— Так, сынок, так, — печально закивала мать. — Но он нашел в горах непригодный участок, расчищает его от камней, землю копает...

Я забеспокоился. Ну и не повезло мне! Неужели придется уехать, не повидавшись с отцом? Я сегодня же должен сесть на поезд на станции Сюйрен. От нашей деревни до нее двадцать пять километров. Если я пропущу кок-козский автобус, придется добираться на попутной линейке. Тогда все погибло — я не успею!

— Мне необходимо сегодня же уехать, — сказал я и заметил в глазах матери ужас.

— Непременно сегодня? — спросила она. — Завтра нельзя?

— Нельзя, мама!

Скорбно ссутулясь, она прошла в соседнюю комнату и долго не выходила. Потом оттуда донесся ее голос: «Хотя бы поешь, потом уйдешь! Ради Аллаха, не обижай меня! Неужели все сыновья, которые учатся, такие, как ты?! Неужто их матери тоже живут в постоянном ожидании, томлении, как я?» Она все говорила о своем желании постоянно видеть меня возле себя, о тоске своей по детям. Но о том, как она и отец от зари до темна работают в чаире, о том, какая жизнь у них нелегкая, она не проронила ни слова.

Что ей скажешь, что возразишь? Матери всегда правы. Я решил поступить, как она хочет. Вскоре она вышла на веранду. У нее были до локтей засучены рукава, руки в муке и тесте, и я понял, что скоро будут готовы мои любимые чебуреки.

Пока чебуреки жарились, я вышел и побродил по нашему саду. Деревья стояли, замерев, словно чутко прислушиваясь к птичьим голосам. Почки на ветвях набухли и вот-вот должны были начать лопаться под напором изнутри нежных бело-розовых лепестков и зеленой клейкой листвы. Каждое из этих деревьев мы с отцом окапывали, ухаживали за ними. Я к каждому из них подходил и, мысленно прощаясь, прикасался ладонью к шероховатому стволу.

¹ Юртю — название земельного участка.

Вскоре мама позвала меня есть чебуреки. Сегодня они мне казались особенно вкусными, сочными, ароматными. Запихнув в рот последний кусок, я тотчас поднялся. Я решил все же побывать на юртю, увидаться с отцом...

...Отца я нашел в чаире, обнесенном высокой изгородью. Мы обменялись крепким рукопожатием, без слов. Он был в одной нижней рубашке с открытым воротом. Он ведь с утра, делая лишь небольшие передышки, копал лескером¹ не рыхлую, много раз обработанную землю, а такую, которая со дня сотворения мира ни разу не видела ни плуга, ни лопаты. Он ковырял землю, извлекал из нее большие булыжники, длинные крепкие корни деревьев, относил их далеко к самому краю обрыва и бросал в ущелье.

Он набросил на потные плечи фуфайку, и мы сели на край межи.

— Есть же хоть и небольшие, но мягкие земельные участки, отец! Почему вы выбрали именно этот? — сказал я ему. — Это же адская работа!

— Зато земля тут сильная, — ответил отец. — Я посажу здесь дыни и арбузы. Они будут всем на удивление! А те земли, о которых ты говоришь, принадлежат колхозу...

— Шел я сейчас и видел, как много участков, которые уже по несколько лет не вспахивались и не засеивались. Они заросли сорняками. Смотришь — и душа болит...

— Эх, сынок, что делать, если людей не хватает? Молодежь все больше уходит в город, ну и стариков становится все меньше и меньше. Старики тоже уходят... Только не в город, а туда, — он кивком указал в сторону Таш-Копюра², за которым находилось кладбище.

Я смотрю на отца и не могу глаз оторвать от его сухощавой, крепкой фигуры. Короткая, кучерявая борода его еще больше поседела. «Сколько же лет моему отцу, дульгеру Алядину?» Я об этом и раньше думал. Несколько раз спрашивал у него, но он и сам толком не знает. У нас древний обычай: когда рождается ребенок, имя его и время рождения записывают на внутренней обложке Корана. Даты рождения

¹ Лескер — узкая штыкообразная лопата с металлическим выступом для нажатия ногой.

² Таш-Кошор — Каменный мост.

моего отца никто нигде не зафиксировал. Так вот он и живет в этом странном мире...

Как только отец увидел меня, кажется, сразу догадался, что я пришел сюда неспроста, не только для того, чтобы с ним поздороваться. Поздороваться с ним я мог бы и дома... Но, поскольку я пришел к нему на юрты, он смекнул, что дожидаться его дома я не мог, поэтому и явился сюда...

Солнце уже зависло низко над горами. Вскоре оно соскользнет за вершины, сразу потянет холодным ветром, и седловины между горами начнут заполнять сумерки. Я никак не мог решиться сказать ему главное, ради чего пришел, а он молчал и ждал.

— Мне пора, отец. Я должен уходить! — сказал я тихо, так тихо, что сам едва услышал себя.

— Уходить? — вздрогнул отец от моих слов. — Прямо сейчас?

— Да, отец! Я уезжаю на военную службу.

Он долго молчал, прежде чем хриплым голосом произнес:

— Ну, что ж... Иди, сынок, коль надо!.. Только будь храбрым.

Трусливых не люблю!

Я удивился его спокойствию, ибо очень боялся этой минуты. Очень многое зависело от тех слов, которые он произнесет, узнав о моем намерении. Мудрый у меня был отец, хотя за всю свою жизнь вряд ли прочел хоть одну книгу. Он не умел читать. Всю свою жизнь имел дело с топором, долотом, рубанком. Оттого, что руки постоянно сжимают инструменты, пальцы его скрючились, всегда полусогнуты, они не выпрямляются.

«Я тоже был на военной службе. Еще при царе, — сказал он; для меня это было неожиданностью, он никогда об этом не рассказывал. — Мы, шестеро из нашей деревни, приехали на собственных конях в Мелитополь, где стоял крымскотатарский полк. После прохождения месячного обучения половину йигитов нашего полка передали казачьей дивизии и отправили в Карпаты. А нам, двум сотням, — теперь вы их называете эскадронами — приказали двигаться конным строем в Ставрополь. В том краю, оказывается, некий черкесский аул поднял вооруженное восстание против губернатора. Мы должны их усмирить... Наш юзбаши¹ Зевадин из Гавра сказал об этом под

¹ Юзбаши — сотник.

строжайшим секретом своему близкому другу, а его близкий друг имел другого не менее близкого друга. Словом, об этом секретном приказе вскоре узнали все йигиты обоих эскадронов».

«Черкесы... они мусульмане? — спросил у юзбаши один из эскадронцев, Ильяс из Озенбаша. — Если мусульмане, я на них шашку поднимать не стану».

— Что значит «не стану»? — возмутился юзбаши. — Приказ командующего! Мы пришли сюда защищать отечество!

— Отечество защищать я готов, однако... стрелять в единоверцев не буду, — упрямо стоял на своем Ильяс.

Мы, шестеро односельчан, и седьмой озенбашский Ильяс повернули своих коней в сторону Азовского моря и вскоре выехали на побережье. В Ставрополь не поехали. Погони за нами не было, а если бы и погнались, то все равно бы нас не нашли. В те времена царское правительство к крымским татарам относилось настороженно, недоверчиво... Теперешняя военная служба совсем иная. Оттуда люди возвращаются учеными...

Отец умолк, разглядывая свои руки со скрюченными пальцами вымазанные в земле, и я подумал о том, что такие умелые руки, как у него, человеку нужны, наверное, не меньше, чем ученая голова.

— Где будешь служить? — спросил он.

— В конном полку, где-то на границе с Польшей! — ответил я. По лицу отца скользнула улыбка.

— Свет повидаешь, — сказал он,

Настало время прощаться. Мы встали. Я обнял отца, прижался щекой к его густой, щекочущей бороде, и мы целую минуту простояли так, не произнося ни слова. А когда мы разняли руки и отступили друг от друга, я увидел на его глазах слезы.

Я быстро отвернулся и зашагал к дороге; пройдя вьющейся, еле заметной тропкой через горное ущелье, я вскоре добрался до деревни Кок-Коз, успел прыгнуть в последний, уже тронувшийся маршрутный автобус, который следовал мимо железнодорожной станции Сюйрен...

Автобус медленно, с подвыванием двигался по петляющей среди гор дороге, и я поворачивал голову то вправо, то влево, мне все казалось, что за следующим поворотом я увижу наш Махульдур, деревушку, прилепившуюся к скалам у подножья горы. Там каждый

вершок земли был отвоеван трудом крестьянина; природа, восхищенная их трудолюбием, отблагодарила горцев, подарив каждому из них крепкое здоровье и красивое телосложение...

Мой учитель, заметно волнуясь, все чаще поглядывал на часы; вероятно, весьма подвижный и беспокойный от природы человек, он устал от долгого сидения на одном месте. Уже стемнело, и в комнате пришлось включить свет. Казалось, мы выговорили все слова и теперь долго сидели молча. Вздыхнув, я заметил:

— Вы, мой учитель, находились в Махульдуре в самое тяжелое время. Поэтому у вас с нашей деревней, наверное, связаны не самые лучшие воспоминания...

— Наоборот! — сказал он. — Время, проведенное в Махульдуре, я считаю лучшим в моей жизни... Вы помните тот неопиcуемой красоты родник на окраине Махульдура, у подножья высокой горы, вершина которой зимой была постоянно покрыта снегом, а летом туманом?

— Да. конечно... конечно, помню. Это около чаира, называемого Бойка...

— Из-под высокой скалы, бурно вскипая, била ключом холодная как лед, и прозрачная, как хрусталь, вода; временами она выносила из-под земли мелкий красный песок... Рассказывали, будто на этом месте некогда были четыре небольших родничка. Их соединили, сделали один большой источник. А название осталось старое — Родники... А рядом имелаcь небольшая площадка, присыпанная песком, отгороженная с трех сторон тремя причудливой формы скалами. Вода тугой струёй вытекала из керамической трубы днем и ночью, летом и зимой на протяжении веков и пела свою нескончаемую, красивую, задумчивую песню. В деревне имеются и другие фонтаны, колодцы, по ущелью скачет белогривая речка, но население пьет воду отсюда, из Родников. Вода эта была необыкновенно вкусная и словно хранила в себе некое волшебство и бодрость.

Когда летними вечерами начинали опускаться на деревню сумерки, люди отправлялись по воду к Родникам. И часто не потому, что дома нет холодной воды, а потому, что в это время люди имеют обыкновение ходить к этому месту. Здесь, возле улука¹, парни и девушки словно невзначай встречаются друг с другом, завязывают

¹ Улук — гончарная труба, желоб.

разговор, делают намеки о своих чувствах. Встречи здесь пары юных сердец, сгорающих в огне любви, происходят не раз, не два, не один день, не один месяц, иногда продолжаются годами... И слава богу, что чаще всего эти встречи завершаются шумными свадьбами. И уже другие поколения с гугюмами в руках все идут и идут сюда, к Родникам...

Учитель рассказывал об этом, устремив долгий задумчивый взгляд в пространство, и вдруг вздрогнул, побледнел, возвращаясь к действительности, и с горькой усмешкой поправил самого себя, поняв, что оговорился:

— Да-а, все шли и шли сюда, к Родникам... С гугюмами в руках... Вы знаете, три года назад я побывал в Махульдуре (теперь он называется как-то по-другому). Теперь там нет Родников. Высохли. Как глаза старика, выплакавшего все слезы... И теперь я всем, кому суждено прожить дольше меня, рассказываю об этих Родниках. Молодежь не должна забывать о них, о том, что они где-то там все же есть, они живут где-то глубоко под землей. Пусть ниши потомки отыщут их и снова откроют им дорогу на белый свет... И тогда опять Махульдур превратится в райский уголок. И хоть у людей в домах будут краны с холодной и горячей водой, парни и девушки все равно будут ходить с гугюмами в руках к Родникам. И это будет длиться до тех пор, пока в их сердце будет жить любовь, пока Родники будут петь свою вечную песню...

Я приехал к вам, мой славный ученик, чтобы напомнить о тех Родниках. Напишите о них. Пусть наши йигиты и девушки не забудут тех мест, где из-под земли может ключом забить холодная как лед, и прозрачная, как хрусталь, вода...

В комнату тихо вошла Фатма.

— Два молодых человека спрашивают нашего гостя! — сказала она виноватым тоном, испытывая неловкость, что помешала беседе. — Я пригласила их в дом, они отказались войти, сказали, что спешат...

Я догадался, что это Селямет вернулся из Чарвака. Мы за разговором не услышали шума мотора.

— Это действительно так, мы очень спешим! — сказал Абдурешид-оджа, вставая.

Он вышел в прихожую, снял с вешалки пальто и быстро надел. Я даже не успел за ним поухаживать.

По правде сказать, мне скорее хотелось помешать ему надеть пальто, нежели помочь. Однако мне не удалось уговорить учителя остаться. И Фатма умоляла его: «Не спешите, оджа! Оставайтесь... Переночуйте хоть одну ночь!» Но он и слышать не хотел. Провожая его, мы вышли с Фатмой во двор.

— Прощайте, мой ученик! — сказал мне Абдурешид-муаллим, открывая переднюю дверцу автомобиля. — Едва ли мы еще раз увидимся, Аджи-гуджи! Шестьдесят лет назад я из-за Эмине больно дернул вас за ухо... Но если бы я этого не сделал, вы бы, может, не запомнили меня! — засмеялся оджа.

И все же, когда он сел рядом с водителем, я заметил, как он украдкой вытер концом рукава слезы на глазах.

— Прощайте, учитель!.. Вы тогда крутанули мое ухо за дело... — Горло мне сдавили спазмы и слова застряли в нем. — Не переживайте, оджа, мне ни капельки не было больно...

Молодой человек, сидевший за рулем, видно, понял, о чем речь, засмеялся, не размыкая рта, в углу которого дымила сигарета. Он подал машину немного назад, а когда выехал на асфальт, рванул по направлению к воротам с чугунными решетками и вскоре исчез за голыми ветками высоких чинар.

Дюрмен. 1983 г.